

# Темный ангел

**Автор:**

Джоанн Харрис

Темный ангел

Джоанн Харрис

Магия жизни

Художник Генри Честер знал о завладевших им демонах и надеялся, что невинность и чистота Эффи спасут его. Однако его светлый ангел, его идеальная женушка оказалась обычной земной женщиной со всеми присущими ей страстями. Чтобы сохранять Эффи в непорочном состоянии, Генри заставляет ее все время спать. Но старые грехи Генри неожиданно заявляют о себе самым необычным образом. Погубленная им душа объединяется с Эффи в некий мистический союз против ханжества и убогости духа.

Джоанн Харрис

Темный ангел

Снова Кевину

Благодарности

Хочу поблагодарить всех, кто помог разбудить эту спящую книгу. Во-первых, Кристофера, которому она нравилась с самого начала; Серафину, Говарда и Бри; замечательного редактора Франческу и всех моих друзей из «Transworld»; Грэма

Овндена за обложку, о которой я всегда мечтала; книготорговцев, которые заботились о том, чтобы мои книги постоянно были на полках, и, наконец, всех поклонников моих предыдущих романов, которые писали, жаловались, настаивали, просили и требовали, чтобы эту книгу допечатали.

## Предисловие

Мало кому хочется поднимать мертвых. Особой осторожности заслуживают мертвые книги; на каждый затерянный клад попадает сотня крышечек от молочных бутылок, ждущих, когда их откопает беспечный старатель. Вот почему за последние десять лет я привыкла воспринимать книгу «Темный ангел» («Sleep, Pale Sister») как останки ушедшего времени. Жарким летом 1993 года я дала жизнь дочери и книге. Одна выжила, другая – нет, и, с моей точки зрения, о соперничестве и речи не идет. За одну ночь мой мир изменился. Я стала другой, и внезапно мысль о публикации перестала меня волновать. К 2003 году книгу давно раскупили. Я ни разу не открыла ее после выхода, я о ней почти забыла.

Однако другие помнили. Некоторые ее прочитали, другие были книготорговцами или моими поклонниками, кому-то просто хотелось посмотреть, как автор «Шоколада» бросилась из английской готики во французское чревоугодие. Меня завалили просьбами прислать книгу. Несколько сотен экземпляров моментально разошлись на amazon.com. Моих издателей донимали письмами с просьбой переиздать книгу. Наконец мы решили попробовать. Я слегка отредактировала исходный текст – вероятно, меньше, чем следовало, но я быстро поняла, что для хирургического вмешательства пациент слишком слаб, – и исправила несколько мелких ошибок. В процессе я, к собственному удивлению, обнаружила, что мне все еще нравится эта история и ее герои. Несмотря ни на что, моя книга не умерла, только заснула. Я рада, что она получила второй шанс.

## Вступление

Рукопись из наследия Генри Пола Честера Январь 1881 года

Я смотрю на свое имя и буквы, следующие за ним, и меня наполняет безбрежная пустота. словно этот Генри Честер, художник, дважды выставившийся в Королевской академии, вовсе не я, а лишь невнятный плод чьего-то воображения, пробка от бутылки с джином, утонченно-злым духом, что пронизывает мое существо и толкает в круговорот опасных приключений, на поиски бледного, испуганного призрака самого себя.

Мой джинн – пилуля хлорала, темная спутница моего сна, некогда ласковая, а ныне жестокая супруга. Однако мы слишком многое пережили вместе, мой джинн и я, чтобы сейчас расстаться. Мы вместе будем писать эту повесть, но как мало осталось у меня времени! Солнце опускается за горизонт, и, кажется мне, я уже слышу, как хлопают крылья черного ангела в самом темном углу комнаты. Она терпелива, но терпение ее не бесконечно.

Бог, самый изощренный мучитель, соблаговолит дать мне чуточку времени, чтобы я дописал историю, которую возьму с собой в холодную подземную обитель – конечно, не холоднее, чем этот труп, в котором я живу, чем пустыня моей души. О, Он ревнив, этот Бог, столь безжалостны бывают лишь бессмертные. Когда я воззвал к Нему в своей мерзости и страданиях, Он улыбнулся и ответил словами, кои явлены были Моисею из неопалимой купины: «Я есмь Сущий»[1 - Исход, 3, 14. – Здесь и далее примечания редактора.]. Я есть тот, кто есть. В Его взгляде нет сострадания, нет нежности. Я не вижу в Нем ни грядущего спасения, ни грозящего наказания – лишь бесконечное равнодушие, не обещающее ничего, кроме забвения. Но как жажду я этого! Слиться с землей, чтобы даже сей всевидящий взгляд не смог меня отыскать... И все же ребенок внутри меня плачет в темноте, а мое бедное разбитое тело умоляет продлить срок... Еще чуть-чуть, еще одна сказка, еще одна игра.

И черный ангел оставляет свою косу у двери и садится рядом со мной для последней партии в карты.

Я не должен писать после заката. Ночные слова лживы и тревожны, однако именно ночью власть слов сильнее всего. По ночам Шехерезада плела свою тысячу и одну сказку, и каждая – дверь, в которую она ускользает снова и снова, а Смерть преследует ее по пятам, как голодный волк. Она знала власть слов. Если бы я не перестал искать идеальную женщину, мне следовало бы отправиться на поиски Шехерезады, высокой и тоненькой, с кожей цвета китайского чая. Ее глаза как ночь, она идет босиком, надменная язычница, не обремененная моралью и скромностью. И она коварна. Вновь и вновь она играет

со смертью и выигрывает и меняет обличье, и каждую ночь ее жестокий муж-людоед видит новую Шехерезаду, которая утром ускользает прочь. Каждое утро он просыпается и смотрит на нее в свете солнца, тихую и бледную после ночных трудов, и клянется, что больше его не проведут. Но едва опускаются сумерки, она снова плетет паутину своих фантазий, и он думает: «Еще один раз»...

В эту ночь Шехерезадой буду я.

Отшельник[2 - Карта Таро, в правильном положении означающая мудрость, рассудительность, опыт; в перевернутом – тоску, одиночество, символизирует необдуманные поступки.]

1

Не смотрите на меня так – это невыносимо! Вы думаете, как сильно я изменился. На картине вы видите молодого человека, у него чистый бледный лоб, темные кудри, спокойные глаза. И вы спрашиваете себя: неужели он – это я? Надменно выпяченная челюсть, высокие скулы, длинные тонкие пальцы будто намекают на таинственных экзотических предков, хотя потомок, несомненно, англичанин. Таким я был в тридцать девять – смотрите внимательно и запоминайте... Я мог бы быть кем-то из вас.

Мой отец был сельским священником в Оксфорде, мать – дочерью богатого оксфордширского землевладельца. Детство мое шло в беззаботном идиллическом уединении. Я помню, как пел в церковном хоре по воскресеньям, и цветной свет дождем из лепестков лился сквозь витражи на белые одежды хористов...

Черный ангел – она, кажется, слегка шевельнулась, и в ее глазах мне чудится взгляд безжалостного, всепонимающего Бога. Не время теперь тосковать по несуществующему прошлому, Генри Пол Честер. Он ждет от тебя правды, а не вымысла. Бога хочешь одурачить?

Как нелепо, что меня до сих пор тянет обманывать. Меня, жившего только во лжи больше сорока лет. Правда – горькая настойка, как не хочется откупоривать ее в эту последнюю встречу. И все же я есмь сущий. Я впервые осмелился присвоить Божьи слова. Это не приукрашенная байка. Таков Генри Честер. Судите меня, если хотите. Я есть тот, кто есть.

Не было, разумеется, никакого идиллического детства. Ранних лет в памяти не осталось, воспоминания начинаются лет с семи-восьми – гнусные, беспокойные воспоминания. Уже тогда я чувствовал, что внутри меня растет змий. Я не помню времени, когда бы не осознавал свою вину, свой грех – его не спрятать и под белейшими покрывалами. Он рождал во мне нечистые помыслы, он побуждал меня смеяться в церкви, он заставлял врать отцу, держа пальцы накрест, чтобы ложь «не считалась».

На стене каждой комнаты в нашем доме были стихи из Библии, вышитые моей матерью. Я и сейчас помню их, особенно тот, из моей комнаты, что так отчетливо выделялся на белой стене против кровати: «Я ЕСМЬ СУЩИЙ». Шли годы моего отрочества, лето сменяло весну, а осень – лето. Я смотрел на эту строчку и в минуты покоя, и в минуты одиноких раздумий о своих пороках и иногда, во сне, взывал к жестокому, безразличному Богу. Но ответ всегда был один, он вышит вечными стежками в закоулках моей памяти: «Я ЕСМЬ СУЩИЙ».

Мой отец был божьим человеком, но пугал меня даже больше, чем сам Бог. Его пронзительные черные глаза могли заглянуть в тайные уголки моей преступной души. Он судил так же безжалостно и бесстрастно, как Господь, он был незапятнан человеческой добротой. Всю любовь, на которую он был способен, отец изливал на свою коллекцию механических игрушек. Он был, можно сказать, антикваром и целую комнату заполнил игрушками: от простеньких деревянных неваляшек до фантастически точной копии китайской шарманки с сотней прыгающих карликов внутри.

Мне, конечно, не позволялось играть с ними – слишком ценные вещицы для ребенка, – но танцующую Коломбину я запомнил. Она была из тонкого фарфора, ростом почти с трехлетнего ребенка. В одну из редких минут непринужденности отец поведал мне, что ее сделал слепой французский мастер в годы дореволюционного упадка. Глядя ее по безупречной щеке, он рассказывал, как когда-то она принадлежала незаконнорожденному отпрыску одного испорченного короля, как потом начался террор, как покатались вперемешку головы безбожников и невинных и куклу позабыли среди пыльных портьер.

Коломбину украли бедная женщина, которой невыносимо было думать, что ее сломают и изуродуют санкюлоты. Ребенок этой женщины умер от голода, и она уложила куклу в кроватку в своей убогой лачуге, качала ее и пела колыбельные, пока ее, безумную, истощенную и одинокую, не забрали в психиатрическую лечебницу умирать.

А Коломбина уцелела. В год, когда я родился, она попала в парижский антикварный магазин. Отец зашел туда, возвращаясь из Лурда, и тут же купил ее, хотя шелковое платье истлело, а глаза провалились от небрежения и грубости. Увидев, как она танцует, он сразу понял, что Коломбина особенная. Едва в ее спине поворачивали ключ, она начинала двигаться, вначале неловко, но постепенно приобретая нечеловеческую грацию, она поднимала руки, сгибала колени, наклонялась, демонстрируя округлую гладкость фарфоровых лодыжек. Месяцы любовной реставрации вернули ей красоту, и она заняла место в коллекции отца, блистая в бело-голубом атласном платье между индийской музыкальной шкатулкой и персидским клоуном.

Мне никогда не разрешали ее заводить. Иногда, лежа ночью без сна, я слышал музыку из-за закрытой двери, тихую, нежную, почти чувственную... Образ отца в ночной рубашке, танцующего с Коломбиной в руках, почему-то не давал мне покоя. Я представлял, как он держит ее, гадал, осмеливается ли запустить руки под кружево ее юбок...

Мать я почти не видел. Ей часто нездоровилось, и она много времени проводила в своей спальне, куда мне не разрешалось заходить. Она была прекрасной и загадочной, с темными волосами и фиалковыми глазами. Помню, как однажды сунул голову в запретную комнату и увидел зеркало, украшения, шарфы, гору великолепных нарядов на постели. В воздухе витал аромат сирени – так пахла мама, когда наклонялась поцеловать меня на ночь, так пахло ее белье, в которое я зарывался лицом, когда горничная развешивала его на веревке.

Нянька говорила, что моя мать – писаная красавица. Мать вышла замуж против воли родителей и с тех пор не общалась с семьей. Может, поэтому она иногда смотрела на меня с каким-то настороженным презрением, может, поэтому ей никогда не хотелось приласкать меня или взять на руки. Как бы то ни было, я ее боготворил. Она всегда казалась такой недостижимой, такой изысканной и безупречной, что я не смел выразить обожание, раздавленный собственной ничтожностью. Никогда я не винил мать за то, что она заставила меня сделать; долгие годы я проклинал лишь свое порочное сердце, как, должно быть, Адам

клял змия за непослушание Евы.

Мне было двенадцать. Я еще пел в хоре, но мой голос уже достиг той почти нечеловеческой чистоты, что предвещает конец детства. Стоял август. То лето было особенно прекрасным: долгие сонные дни в голубой дымке, полные чувственных ароматов и томности. Я играл в саду с друзьями, было жарко и хотелось пить, волосы у меня торчали дыбом, как у дикаря, колени позеленели от травы. Я тихонько пробрался в дом – хотел быстренько переодеться, пока нянька не заметила, в каком я виде.

В доме никого не было, кроме горничной на кухне, – отец в церкви готовился к вечерней службе, мама гуляла у реки, – и я побежал наверх, к себе. Остановившись на лестнице, я увидел, что дверь в мамину комнату приоткрыта. Помню, как смотрел на дверную ручку из бело-голубого фарфора, разрисованную цветами. Аромат сирени тянулся из прохладной темноты, и почти вопреки своей воле я сделал шаг и заглянул внутрь. Никого не видно. Виновато озираясь, я толкнул дверь и вошел, убеждая себя, что, раз дверь открыта, меня нельзя обвинить во вторжении. Впервые в жизни я оказался один в спальне матери.

Целую минуту я просто рассматривал ряды флаконов и безделушек на зеркале, затем осмелился потрогать шелковый шарф, кружево юбки, тонкую ткань сорочки. Я был очарован всеми ее вещами, таинственными бутылочками и баночками, расческами и щетками, в которых остались ее волосы. Казалось, комната и есть моя мама, ее пойманная сущность. Казалось, сумею я постичь каждую деталь этой комнаты – и узнаю, как рассказать ей, насколько я ее люблю, подобрать слова, которые она поймет.

Протягивая руку к своему отражению в зеркале, я случайно опрокинул пузырек, и воздух наполнился пьянящим ароматом жасмина и жимолости. Я хотел скорей подобрать склянку, но вместо этого рассыпал пудру по туалетному столику. Однако запах так странно подействовал на меня, что я вовсе не испугался, а лишь тихонько хихикнул про себя. Мама еще не скоро вернется. Отец в церкви. Что плохого, если я немножко осмотрюсь? И, разглядывая вещи матери в ее отсутствие, я ощутил возбуждение, ощутил власть. Янтарное ожерелье подмигнуло мне в полумраке. Повинуясь порыву, я надел его. Прозрачный шарф, легкий как вздох, коснулся моей голой руки, я поднес его к губам и словно ощутил ее кожу, ее благоухание на своем лице.

Я впервые испытал удивительное покалывание во всем теле, постепенно оно сосредоточилось в точке сильнейшего напряжения; растущее трение, вызвавшее в сознании едва узнаваемые образы похоти. Я пытался убедить себя, что это все из-за комнаты. Шарф хотел нежно обернуться вокруг моей шеи. Браслеты сами оказались у меня на запястьях. Я снял рубашку и взглянул на себя в зеркало, а потом, не задумываясь, снял и брюки. На маминой кровати лежала накидка, изящная прозрачная вещица из шелка и пены кружев. Я завернулся в нее, лаская тонкую ткань, воображая, как она касалась ее кожи, представляя, как она выглядела...

Мне стало дурно, закружилась голова, густой аромат из опрокинутого флакона настиг меня, как невидимая армия суккубов, я слышал хлопанье их крыльев. Тогда я и понял, что принадлежу дьяволу. Что-то нечеловеческое заставляло меня продолжать, и, хотя я знал, что совершаю смертный грех, я не чувствовал вины. Я чувствовал бессмертие. Казалось, руками, что сжимали и тискали накидку, владел демонический разум. Я резвился в какой-то бешеной, исступленной радости... потом вдруг застыл в полнейшем бессилии, скорчившись от наслаждения, которого раньше не мог и представить. На секунду я оказался выше облаков, выше самого Бога... а затем пал, как Люцифер, вновь став маленьким мальчиком, и лежал на ковре, на смятом, изорванном шелке накидки, и украшения нелепо болтались на моих тощих запястьях.

Миг тупого безразличия. А потом чудовищность содеянного градом обрушилась на меня, колени подогнулись, и я заплакал в паническом ужасе и дрожащими руками потянулся к своей одежде. Схватив накидку, я скомкал ее и запихнул под рубашку. Подобрал ботинки, я кинулся в свою комнату и спрятал накидку в дымоходе за выпавшим камнем, поклявшись сжечь ее, когда нянька разведет огонь.

Паника слегка утихла, я не торопясь умылся, переоделся и десять минут пролежал на кровати, чтобы унять дрожь. Меня переполняло странное облегчение: я избежал немедленного разоблачения. Страх и вина превратились в радостное возбуждение – даже если меня накажут за то, что я ходил в комнату матери, наихудшего никогда не узнают. Это мой секрет, он свернулся в сердце моем подобно змию. Он рос внутри меня и даже сейчас продолжает расти.

Конечно, случившееся не осталось незамеченным: меня выдали рассыпанная пудра, пролитые духи – ну, и пропажа накидки. Лишь в этом я признался отцу:



что зашел в комнату из любопытства, что нечаянно наступил на кружевную ткань, порвал ее и, чтобы избежать наказания, выбросил ее в пруд. Он поверил мне, даже похвалил за честность (как же смеялся и ликовал дьявол во мне!), и, хотя меня выпороли за безрассудный поступок, облегчение и даже восторг не исчезли. Отец, такой всемогущий, вдруг потерял власть: я его одурачил, солгал, а он и не понял. Что же до матери, возможно, она о чем-то догадывалась, потому что пару раз замечал я, как она странно смотрит на меня. Тем не менее она ни разу не заговорила об этом происшествии, и, очевидно, вскоре оно было забыто.

Я же так и не сжег накидку, спрятанную в дымоходе, и иногда, оставшись один, доставал ее из тайника и трогал складки шелка, пока наконец годы и дым, поднимающийся по трубе, не превратили ее в ломкий коричневый пергамент и она не рассыпалась в прах, как пригоршня осенних листьев.

Мать умерла, когда мне было четырнадцать, через два года после рождения моего брата Уильяма. Ее чудесная спальня превратилась в больничную палату, заполненную венками из цветов, а она сама – в бледную худую тень и однако оставалась прекрасной до конца.

Отец проводил с ней все время, лицо его было непроницаемо. Однажды, проходя мимо комнаты, я услышал его безудержные рыдания и насмешливо скривился – я гордился тем, что ничего не чувствую.

Ее похоронили на церковном кладбище, прямо у входа в церковь, чтобы отец видел могилу, встречая прихожан. Я терялся в догадках: как этот суровый, богобоязненный человек женился на таком нежном, земном создании. Мысль, что его обуревали неведомые мне страсти, тревожила меня, и я старался выкинуть ее из головы.

Мне было двадцать пять, когда умер отец. Я путешествовал по Европе и узнал, лишь вернувшись в Англию. В ту зиму он вроде бы простудился, запустил болезнь (он крайне редко топил в доме, разве что в сильные морозы), не соблюдал постельный режим и в один прекрасный день свалился прямо в церкви. Начался жар, и отец умер, не приходя в сознание, оставив мне приличное наследство и необъяснимое ощущение, что теперь, мертвый, он сможет следить за каждым моим движением.

Я переехал в Лондон. Я весьма недурно рисовал и желал стать художником. Открыв для себя Британский музей и Королевскую академию искусств, я с головой ушел в живопись и скульптуру. Я намеревался создать себе имя и, сняв студию в Кеннингтоне, пять лет работал над картинами для своей первой выставки. В основном я писал аллегорические портреты, черпая идеи в произведениях Шекспира и классической мифологии, работая обычно маслом – это необходимо для тщательной проработки деталей, которая мне так нравилась. Один гость, пришедший взглянуть на картины, заметил, что мой стиль «весьма напоминает прерафаэлитов». Вдохновившись, я стал намеренно пестовать эту схожесть, заимствуя сюжеты из поэзии Россетти[3 - Россетти Данте Габриэль (1828-1882) – английский поэт, художник и переводчик. В 1848 г. вместе с Уильямом Холманом Хантом и Джоном Эвереттом Миллесом основал «Братство прерафаэлитов».], хотя сам он отнюдь не казался мне человеком, которому следовало бы подражать.

Основная проблема заключалась в поиске моделей: у меня было мало знакомых в Лондоне, и после весьма неловкого случая в Хеймаркете я не решался обращаться к подходящим на вид женщинам с предложением работы. Мужчин писать не хотелось, в женщинах я видел куда больше поэзии – точнее, в особом типе женщин. Я дал объявление в «Таймс», но из двадцати откликнувшихся претенденток лишь одну или двух можно было условно назвать красивыми и уж вовсе ни одну – «приличной». Но пока они не раскрывали своих вульгарных ртов, я не жаловался и теперь, оглядываясь на свои ранние работы, с трудом могу поверить, что у очаровательной Джульетты был незаконнорожденный ребенок, а невинная Золушка любила приложиться к бутылке джина. В те дни я узнал о женщинах больше, чем когда-либо хотел знать. Я слушал их болтовню, видел их развращенность, читал их грязные мысли и презирал, несмотря на хорошенькие личики.

Некоторые пробовали соблазнить меня своими дешевыми уловками, но в те времена я держал своего внутреннего змия под контролем: каждое воскресенье я ходил в церковь, днем работал в студии, а вечерами отдыхал в респектабельном клубе. У меня было несколько приятелей, но я редко испытывал нужду в компании. Ведь у меня было искусство. Я даже вообразил, что женщины не имеют надо мной власти, что я наконец обуздал порывы грешной плоти. Вот на таком самомнении Господь и колесует грешников. Но время бежит, и я должен перепрыгнуть еще через три года, к тому моменту, когда мне исполнилось тридцать три, в тот ясный осенний день, когда я встретил свою Немезиду.

Одно время я писал детей – найти красивого ребенка, которого мать готова отпустить на несколько часов в день, не составляло труда. Я платил им по шиллингу в час – больше, чем некоторые из этих женщин зарабатывали сами. Итак, я, как обычно, гулял по парку и вдруг заметил женщину с ребенком – некрасивую особу в черном и маленькую девочку лет десяти, чье лицо было столь поразительно, что я остановился, не в силах отвести глаз.

Худенькая девочка, закутанная в уродливую черную пелерину, словно с чужого плеча, двигалась с необычным для своего возраста изяществом, но более всего меня потряс цвет ее волос – скорее белые, чем золотистые, и на мгновение она показалась маленькой старухой, подкидышем, оставленным эльфами среди веселых румяных ребятишек. У нее было заостренное, почти бесцветное лицо, большие бездонные глаза, не по-детски пухлые, но бледные губы и удивительно трагичный вид.

Я сразу понял, что она должна стать моей натурщицей: ее лицо обещало бесконечное разнообразие выражений, каждое движение было законченным шедевром. Глядя на нее, я знал, что этот ребенок станет моим спасением. Ее невинность тронула меня не меньше, чем ее призрачная красота, и, когда я подбежал к ним, в глазах у меня стояли слезы. От нахлынувших чувств я в первый миг даже не мог говорить.

Девочку звали Эффи, унылая женщина была ее теткой. Эффи жила над крошечной шляпной мастерской в переулке Кранбурн с теткой и матерью, которые были, что называется, приличными. Мать, миссис Шелбек, – вдова, находившаяся в стесненных обстоятельствах. Эта визгливая назойливая женщина ничем не походила на дочь. Предложенная мной плата в размере одного шиллинга в час была принята без какой-либо скромности и стеснения, обычно выказываемыми в благородных семьях. Подозреваю, предложи я половину этой суммы, ее приняли бы с той же готовностью – а я бы с радостью предложил вдвое больше.

Эффи пришла ко мне в студию – как подобает, в сопровождении тетки – в ту же неделю, и все утро я рисовал ее с различных ракурсов: в профиль, в три четверти, анфас, с поднятой головой, с опущенной... каждый набросок прелестнее предыдущего. Она великолепно позировала: не вертелась, не ерзала, как другие дети, не болтала и не улыбалась. Казалось, студия и сам я внушали ей благоговейный страх, она с почтительным изумлением тайком изучала меня. Потом пришла снова, а на третий раз – уже одна, без тетки.

Первая моя картина с ней называлась «Сон сестры», как стихотворение Россетти, и на ее создание ушло два месяца – совсем небольшое полотно, однако я тешил себя мыслью, что сумел передать взгляд Эффи. На картине она лежала в узкой детской кроватке, на белой стене над ней – распятие, а рядом на прикроватном столике – ваза с ветвями остролиста, символ Рождества. Брат сидит на полу у кровати, зарывшись головой в одеяло, а мать в черном стоит у изголовья, закрыв лицо руками. Эффи – центр картины, остальные фигуры темные и безликие, а она – в белой кружевной сорочке, которую я специально купил для этой работы, волосы рассыпаны по подушке. Одна обнаженная рука безвольно вытянута вдоль тела, другую Эффи по-детски подложила под щеку. Свет, льющийся в окно, преобразил ее, обещая избавление в смерти, чистоту и невинность тем, кто умирает в юности. Эта тема была созвучна моему сердцу, и мне суждено было повторить ее еще много раз в последующие семь лет. Иногда мне не хотелось отпускать ее домой вечерами: она так быстро росла, что я боялся потерять хоть час ее общества.

Эффи говорила мало, она была тихой малышкой, не знавшей заносчивости и тщеславия, присущих ее ровесницам. Она читала с жадностью, особенно поэзию: Теннисона, Китса, Байрона, Шекспира, – все это едва ли подходило для ребенка, хотя ее матери, похоже, было все равно. Однажды я решился поговорить об этом с Эффи, и, к моей радости, она прислушалась к советам. Я объяснил ей, что поэзия – превосходное чтение для, скажем, молодого человека, но она чересчур сложна для впечатлительной девочки. Слишком часто мотивы ее непристойны, а страсти чрезмерны. Я предложил ей несколько хороших, полезных книг и был счастлив, когда она покорно их прочла. В ней не было своенравия; казалось, она создана воплощением всех женских добродетелей, без единого недостатка, присущего этому полу.

Я никогда не стремился оставаться холостяком, но мои профессиональные отношения с женщинами приучили меня не доверять им, и я уже сомневался, найду ли когда-нибудь ту, «одну из тысячи», добродетельную и послушную. Однако чем больше я общался с Эффи, тем больше очаровывали меня ее красота и ласковый нрав, и я понял, что идеал можно сотворить.

В Эффи не было грязи – она была абсолютно чиста. Я не сомневался, что если сумею выпестовать черты ее характера, если буду с отеческой заботой следить за ее развитием, то взращу нечто редкое и чудесное. Я бы защитил ее от остального мира, воспитал себе ровню. Я буду лепить свой идеал, а потом, когда все будет готово... И тут нахлынуло воспоминание о маленьком мальчике в

комнате, полной запретных чудес, а воздух будто наполнился тонким ностальгическим ароматом жасмина. Впервые этот образ не был искажен чувством вины: я знал, что меня спасет чистота Эффи. В ней не было ничего мирского, ничего чувственного – холодная беззаботность подлинной невинности. В ней обрету я спасение.

Я нашел ей частных учителей (мне хотелось оградить ее от контактов с другими детьми), покупал ей одежду и книги. Я нанял приличную домработницу для ее матери и тетки, чтобы Эффи не приходилось тратить время, помогая по дому. Я сдружился с ее нудной матерью, чтобы почаще бывать в их доме в переулке Кранбурн, и помогал им деньгами.

Теперь я писал Эффи почти непрерывно, вспоминая об остальных моделях, только если они требовались в качестве статисток. Я сосредоточился на Эффи: двенадцатилетняя Эффи, подросшая, в очаровательных белых платьях и голубых лентах, которые ее мать покупала по моему совету; Эффи в тринадцать, четырнадцать лет, фигура изящная, как у танцовщицы; в пятнадцать, глаза и губы стали выразительнее, лицо повзрослело; в шестнадцать, светлые волосы аккуратно уложены венцом, ротик нежно очерчен, под тяжелыми веками прекрасные глаза цвета дождя, кожа такая тонкая, что кажется, будто под глазами у нее синяки.

Наверное, я рисовал и писал Эффи не меньше сотни раз: она была Золушкой, Марией, юной послушницей в «Цветке страсти», Беатриче на небесах, Джульеттой в гробу, Офелией, плетущей венок из лилий, Маленькой нищенкой в лохмотьях. Последним ее портретом того времени стала «Спящая красавица», композицией очень похожая на «Сон сестры»: Эффи снова вся в белом, как невеста или послушница, на той же детской кровати, но волосы гораздо длиннее (я всегда убеждал ее не стричь их), спадают на пол, в вековую пыль. С потолка льются солнечные лучи, усики плюща заползли в комнату через окно. Скелет в доспехах, увитый всепроникающим плющом, словно предупреждает о том, как опасно тревожить спящую невинность. Лицо Эффи обращено к свету, она улыбается во сне и не подозревает, какое опустошение окружает ее.

Я больше не мог ждать. Пришло время разрушить сплетенные мной чары, что заставляли ее ждать меня все эти годы. Я понимал, что она очень юна, но еще год – и я могу потерять ее навсегда.

Ее мать несколько не удивилась, что я хочу жениться на ее дочери. А готовность, с которой она дала согласие, подтвердила, что она предвидела такую возможность. В конце концов, я был богат, и, если Эффи выйдет за меня, я, разумеется, должен буду помогать ее родным, к тому же мне было почти сорок, а ей – только семнадцать. Когда я умру, все мое состояние перейдет к ней. Тетка (кислая старая дева, чьей единственной подкупающей чертой была всепоглощающая привязанность к Эффи) не одобряла этого решения. Она считала, что Эффи слишком молода, слишком ранима, она не осознает, что потребуются от нее после свадьбы. Ее возражения меня не волновали. Я заботился лишь об Эффи. Она была моей, я взрастил ее рядом с собой, как плющ на стволе дуба.

К алтарю она пошла в том самом старинном вышитом платье, в котором позировала для «Спящей красавицы».

Звезда[4 - Счастливая карта Старших арканов. В прямом положении – надежда, обновление, открытие новых горизонтов, исцеление от недугов; в перевернутом – упадок духа, разочарование в близких, предупреждает о возможной духовной слепоте, не позволяющей заметить и использовать новые возможности.]

2

«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти; ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.

Если же вы духом водитесь, то вы не под законом.

Дела плоти известны; они суть: прелюбодееяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда...»

Его слова плыли черной вереницей, и я была рада, что перед службой приняла опиумную настойку. Мигрень почти прошла, оставив после себя темную прохладную пустоту, куда падали все мои мысли, далекие, как звезды.

«...гнев, распри, разногласия, ереси...»[5 - Послание к Галатам, 5, 16-20.]

Я улыбнулась себе в своем тихом мире.

Стихи звучали жестоко, но все равно оставались поэзией, преодолимой, как языческие песенки, что я распевала, прыгая со скакалкой на улице много-много лет назад, до того как вышла замуж за мистера Честера.

Прыг да скок,

Круго?м, круго?м,

И бегом, бегом, бегом.

Я вспомнила эти строки, и сердце защемило от тоски по безвозвратно ушедшим временам, когда мама была здорова, папа жив, и мы все вместе читали стихи в библиотеке нашего старого дома, еще до переулка Кранбурн. Тогда поход в церковь был праздником, поводом петь и веселиться. Боль усилилась, я сжала руки и прикусила губу, чтобы отогнать обморок. Уильям, сидевший слева от меня, состроил сочувственную мину, но я не подняла головы – мистеру Честеру не понравилось бы, если бы я улыбнулась в церкви. Над головой священника солнце освещало святого Себастьяна, пронзенного стрелами.

«Прыг да скок...»

Лицо святого было спокойно и равнодушно, как у Генри.

И вдруг я падаю, в панике взмахивая руками, открыв рот в немом ужасе... но я падаю вверх, к высокому своду церкви, я вижу позолоту и орнаменты и холодное мерцание глаз святого Себастьяна... Падение замедлилось. Голова закружилась, когда я взглянула вниз, на головы прихожан, и ужас уступил место благоговению и эйфории. Как я оказалась здесь? Может, я умерла и покинула тело, не осознавая этого? Или я сплуну? Я прыгала и танцевала в воздухе, громко

вскрикивая, кружась над лысой головой священника, словно ангел на острие иглы. Никто не слышал меня.

Испытывая свои новые возможности, я пронеслась, невидимая, над рядами темных голов, постепенно понимая, что слух и зрение необычайно обострились и каждая деталь видна с удивительной четкостью. Я видела даже слова священника, что поднимались к небу, словно дым из фабричной трубы. Я видела уныние паствы, изредка нарушаемое ясным лучом детской невнимательности. Присмотревшись, я поняла, что могу заглянуть внутрь людей – я видела их сущность, как солнечный свет сквозь витражи. Под маской плоти пожилая женщина с кислым лицом и острым языком цвела призрачным великолепием; ребенок излучал чистую радость; молодая темноволосая женщина была ужасным колодцем мрака и смерти. Испугавшись того, что увидела в этой девушке, я изо всех сил рванула вверх.

Из-под церковного свода я разглядывала собственное брошенное тело: бледное личико в темном провале капора, побелевшие губы, голубые веки опущены. Мне хотелось презирать себя – тонкую штучку, маленькую, незначительную. Лучше смотреть на мистера Честера, на его красивое суровое лицо, или на Уильяма, на его светлые волосы, спадающие на глаза.

– Марта!

Голос прозвенел в церкви, и я с любопытством оглянулась, но другие прихожане никак не отреагировали.

– Марта!

На этот раз голос звучал очень настойчиво, но священник не прервал проповеди. Только я слышала. Внизу я увидела лишь склоненные головы и сложенные на коленях руки.

В дверях церкви, запрокинув голову, словно присматриваясь к чему-то, стояла женщина. Я успела разглядеть ее лицо, волну медных кудрей под легкомысленной золотой шляпкой, и тут кто-то позвал меня по имени.

– Эффи!



Уильям повернулся к моему безжизненному телу и, увидев, что я в глубоком обмороке, стал развязывать мой чепчик.

Все еще вне тела, я с интересом наблюдала, как он ищет нюхательную соль в моей сумочке. Милый Уильям! Такой неуклюжий и искренний. Такой не похожий на брата.

Генри тоже встал, губы плотно сжаты; зыбь любопытства пробежала по скамье. Он молча поднял меня и в сопровождении Уильяма повлек по проходу. Некоторые уставились вслед, другие лишь снисходительно улыбнулись друг другу и вновь сосредоточились на службе. В конце концов, учитывая положение миссис Честер, в обмороке нет ничего необычного.

«Прыг да скок...»

У меня вдруг закружилась голова. Снова встретившись глазами с бедным, пронзенным стрелами святым Себастьяном, я почувствовала странную боль в животе, словно что-то падало. Кругом, кругом, кругом...

Осознав, что происходит, я попыталась сопротивляться, но тщетно. «Я не хочу обратно! – протестовал мой разум. – Не хочу...»

Я смутно помню, что, падая, встретила взглядом с женщиной в золотой шляпке. Ее губы двигались, произнося незнакомое имя: «Марта»... Потом наступила темнота.

Надо мной нависло лицо Генри, его руки двигались, ослабляя шнуровку корсажа, и, плывя между сном и явью, я рассматривала чистые, четкие черты его лица, прямые брови, внимательные глаза, волосы намного темнее, чем у брата, и очень коротко остриженные. Уильям неуверенно топтался сзади. Увидев, что я открыла глаза, он подскочил с нюхательной солью.

– Эффи? Как ты...

Генри повернулся к нему.

– Не стой тут как дурак! – с холодной яростью рявкнул он. – Найди извозчика. Живо! – И Уильям ушел, бросив последний взгляд на меня через плечо. – Этот мальчишка слишком много о тебе думает, – добавил Генри. – И не скрывает этого... – Он вдруг оборвал сам себя. – Ты можешь стоять?

Я кивнула.

– Это ребенок?

– Не думаю.

Мне и в голову не пришло рассказать ему о странном происшествии в церкви. Я знала, как раздражают его мои «причуды».

Я попыталась сесть в экипаж, но вдруг снова подступила тошнота, и я чуть не упала. Генри обнял меня за талию и легко подсадил внутрь. Искоса взглянув на его напряженный профиль, я уловила его отвращение и страх. В ту минуту я почти поняла, что он боится меня, ощутила глубину его смятения, но догадка поблекла прежде, чем я осознала ее, и со мной вновь случился обморок.

3

Конечно, она потеряла нашего ребенка. Она спала в объятиях опиума, когда акушерка унесла его и завернула в саван. Я не захотел взглянуть на сына. Узнав, что жена идет на поправку, я отправился в студию работать. Мы жили в Хайгейте, и я нарочно снял студию в нескольких милях от дома. Это давало мне чувство уединения, необходимое для работы; кроме того, свет там был чистый и холодный, как в монастыре, и мои картины, свободно развешанные по беленым стенам, светились, будто пойманные бабочки под стеклом. Здесь я был Верховным жрецом, а Эффи – моей прислужницей, ее милое личико смотрело с ярких полотен, и бледных пастелей, и толстых пачек рисунков на коричневом пергаменте; Эффи моего сердца, нетронутая проклятием нашего жара и нашей плоти. В ту ночь – уже не в первый раз – я спал в студии, на узкой кровати, той самой, где она позировала для «Сна сестры» и «Спящей красавицы». Хрустящие крахмальные простыни остужали мою пылающую кожу, и я смог наконец

испытать удовлетворение.

Я вернулся на следующий день в десять. Слуги сказали, что врач ушел рано утром. Тэбби Гонт, наша экономка, сидела с Эффи почти всю ночь и поила ее опиумом и теплой водой. Когда я вошел в комнату больной, Тэбби подняла глаза и отложила рубашку, которую подшивала. Она поспешно встала и поправила чепец на непослушных седых волосах; вид у нее был усталый, глаза красные, но улыбка – открытая, как у ребенка.

– Юная леди спит, мистер Честер, сэр, – прошептала она. – Доктор говорит, она немного ослабла, но жара нет, благодарение Богу. Он сказал, несколько дней в постели.

Я кивнул:

– Спасибо, Тэбби. Принесите миссис Честер горячего шоколада.

Я повернулся к постели, на которой лежала Эффи. Ее светлые волосы рассыпались по одеялу и подушкам, во сне она подложила руку под щеку, словно маленькая девочка. Мне с трудом верилось, что ей восемнадцать и она только что разрешилась первым ребенком. Я невольно содрогнулся от этой мысли. Вспоминая, как она выглядела, как ощущалось ее беременное тело под одеждой, когда я прикасался к ней, я чувствовал себя нечистым, тревога наполняла мою душу. Лучше видеть ее вот так, в постели, тонкая рука прикрывает глаза, Эффи учащенно дышит, сорочка вздымается и опадает, тонкий изгиб груди (это слово растревожило меня даже в мыслях, и я гневно его отбросил) едва различим.

Нежность внезапно переполнила меня, и я целомудренно коснулся ее волос.

– Эффи?

С тихим стоном она пыталась проснуться. До меня донесся ее аромат, острый запах талька, жара и шоколада, запах ее детства. Ее глаза открылись и пристально уставились на меня, и она вдруг села, резко, виновато, словно школьник, заснувший на уроке.

– Я... мистер Честер!

Я улыбнулся.

– Все в порядке, моя дорогая. Не двигайся. Ты еще очень слаба. Тэбби сейчас принесет тебе теплое питье.

Глаза Эффи наполнились слезами.

– Простите, – нерешительно сказала она. – Я упала в обморок... ну, в церкви.

– Все в порядке. Просто ложись тихонько. Вот так, я посижу рядом и буду держать тебя за руку. Так ведь лучше?

Я присел на кровать и подложил ей под спину подушку. Обняв ее за плечи, я увидел, как лицо ее успокоилось и на губах появилась мечтательная улыбка. Все еще в полусне, она пробормотала:

– Так хорошо, очень хорошо. Прямо как раньше... как раньше, до того как мы поженились.

Я невольно напрягся, и, когда смысл сказанного проник в ее лихорадочные мысли, Эффи вздрогнула от ужаса.

– Ребенок! Что с ребенком?

Я невольно отпрянул. Думать об этом было невыносимо.

– Генри, пожалуйста, скажи мне! Пожалуйста, Генри!

– Не называй меня так! – рявкнул я, вскакивая, но, взяв себя в руки, заговорил с прежней лаской: – Постарайся понять, Эффи. Ребенок был болен. Он не мог выжить. Слишком маленький.

Громкий безудержный вопль вырвался из уст Эффи. Я взял ее за руки, не то умоляя, не то браня.

- Ты слишком молода, чтобы иметь ребенка. Все это было неправильно. Это была ошибка. Это...

- Не-е-е-е-ет!

- Прекрати шуметь!

- Не-е-е-е-е-ет!

- Прекрати!

Я потряс ее за плечи, и она инстинктивно подняла руки к лицу, глаза горели, щеки побелели от слез. На какой-то миг ее слезы показались мне столь эротичными, что я отвернулся, сердито покраснев. Я сказал мягче:

- Эффи, это к лучшему. Дорогая, теперь все может быть как раньше. Не плачь, Эффи. Просто ты слишком хрупкая, чтобы носить ребенка, вот и все. Ты слишком молода. Вот. - Я потянулся за стаканом и пузырьком с опиумом и отмерил шесть капель в воду. - Выпей, это успокоит нервы.

Я терпеливо держал стакан, пока Эффи пила, цепляясь за мою руку и глотая слезы вперемешку с лекарством. Я чувствовал, как ее тело постепенно расслабляется, и наконец она обмякла в моих руках.

- Вот умница. Теперь лучше?

Эффи сонно кивнула и уткнулась головой в мой согнутый локоть. Она пошевелилась, и в ноздри ударил резкий запах жасмина. Возможно, мне причудилось, не знаю - ощущение было таким мимолетным.

Девятка мечей[6 - В большинстве толкований карт Таро девятка мечей считается худшей картой в колоде. Она предвещает смерть, неудачу, крайнее отчаяние.]

Я проболела несколько недель. Зимняя погода препятствовала моему выздоровлению, я подхватила простуду, не успев оправиться после преждевременного рождения ребенка, и провела в постели еще некоторое время. Помню сочувственные гримасы на лицах, склонявшихся надо мной, но сердце мое замерзло; я хотела поблагодарить всех за беспокойство, но в словах не было никакого смысла. Тэбби (она жила с нами на Кранбурн, еще когда я была совсем маленькой) ухаживала за мной, и качала головой, и поила меня бульоном; юная Эм, горничная, расчесывала мои волосы, и одевала меня в прелестные кружевные ночные сорочки, и сплетничала о своей семье и сестрах в далеком Йоркшире; садовник Эдвин время от времени присылал несколько ранних крокусов или нарциссов со своих драгоценных клумб и ворчал, что «они подкрасят щечки молодой госпожи». Но даже их доброта не могла меня расшевелить. Я сидела у камина, завернувшись в толстую шаль, иногда с вышиванием, но чаще просто уставившись на огонь.

Уильям, который мог бы разбудить меня, вернулся в Оксфорд, где его ждала должность младшего научного сотрудника, и теперь разрывался между радостью от вознаграждения за долгие годы учебы и тревогой, что оставил меня в столь подавленном состоянии.

Генри был само внимание: почти целый месяц ко мне не пускали посетителей – он говорил, что никому не позволит меня расстраивать, – и он ни разу не уходил к себе в студию. Генри работал дома над дюжинами эскизов к моим портретам, но мне, некогда очарованной его работами, теперь было все равно. Раньше мне нравилось, как он меня рисует, выделяя глаза и подчеркивая правильность черт, но теперь его искусство оставляло меня равнодушной, и я удивлялась, что когда-то считала его талантливым.

Его картины, развешанные, как трофеи, по всем свободным стенам в каждой комнате, вызывали у меня отвращение. Но хуже всех была «Маленькая нищенка» в спальне, написанная, когда мне было всего тринадцать, – эта картина преследовала меня, как мой призрак. Лондонские трущобы воспроизведены в мельчайших деталях, от пара над тротуарами до сажи, опускающейся с мутного неба. Тощий кот обнюхивает дохлую птицу в канаве. Рядом сидит умирающая девочка, босая, одетая лишь в рубаху, ее длинные волосы свисают до земли. Разбитая чашка для подалий лежит рядом на

мостовой, лицо воздето к небу, и на нем играет случайный луч света. На раме, созданной по эскизам художника, выгравирована строфа из его собственного одноименного стихотворения:

Невинная, нетронутая лаской,  
Свободная от грез земной Любви,  
Оставь покровы смертной, слабой плоти  
И, озаряясь, в выси воспари.  
Небесные к тебе склонятся духи,  
Хоть ты и выйдешь к ним из темноты,  
А рядом на престоле Всемогущий,  
И в вечной радости Его невеста – ты.

Когда-то я восхищалась мистером Честером – у него так легко получалось писать настоящие стихи. Я не терпела критики в его адрес, плакала в сердцах, когда мистер Рёскин[7 - Рёскин Джон (1819–1900) – английский писатель, искусствовед, критик.] нелестно отозвался о его первой выставке. Я смутно помнила то время, когда поклонялась ему, берегла каждое написанное им слово, каждый выброшенный рисунок. Я помню свое благоговение и признательность, когда он предложил нанять мне учителей, радость, охватившую меня, когда я услышала, о чем мама говорит с Генри в библиотеке. Тетушка Мэй не одобряла брака с человеком настолько старше меня. Но маму ослепили мысли о благах, которыми мистер Честер мог обеспечить ее дочь, а меня – меня ослепил сам мистер Честер. В семнадцать лет я вышла за него замуж.

Вышла за него замуж!

Я яростно схватилась за иголку, нижний стежок – раз, верхний стежок – два, меня вдруг переполнила ненависть и злоба. Вышивка по рисунку Генри была наполовину готова: яркие, насыщенные цвета, спящая красавица на увитом розами ложе. И хотя работа была не закончена, лицо спящей девушки уже напоминало мое.

Верхний стежок – раз, нижний стежок – два... Я втыкала иголку, уже не заботясь о стежках, с растущей злостью прокалывала ткань, пронзая нежную вышивку золотой нитью. Забывшись, я плакала вслух, без слез – первобытный хрип, который при иных обстоятельствах привел бы меня в ужас.

– Что с вами, мисс Эффи?

От испуга Тэбби обратилась ко мне по-старому.

Вырванная из яростного транса, я вздрогнула и подняла голову. Пухлое добродушное лицо Тэбби расстроено сморщилось.

– О, что вы наделали! Ваши бедные ручки... и ваша прелестная вышивка! Ох, мэм!

Я с удивлением заметила на руках кровь от дюжины уколов. Кровавые следы были и на рукоделии, лицо спящей девушки испорчено. Я уронила пальцы и попыталась улыбнуться.

– О боже, – ровно произнесла я. – Какая я неловкая.

Тэбби начала что-то говорить, глаза ее наполнились слезами.

– Нет-нет, Тэбби, со мной все в порядке, спасибо. Пойду вымою руки.

– Но, мэм, вы, конечно, примете опиумную настойку! Доктор...

– Тэбби, будь так добра, убери мое рукоделие. Сегодня оно мне больше не понадобится.

– Да, мэм, – вяло ответила Тэбби, но не двинулась выполнять приказание, пока я не вышла, спотыкаясь, из комнаты.

Я нащупала дверную ручку окровавленными руками, точно лунатик, совершивший убийство.



Я была нездорова почти два месяца, пока наконец доктор не решил, что я достаточно поправилась и могу принимать посетителей. Не то чтобы их было много: мама заходила поболтать о нарядах и уверить меня, что я еще успею нарожать детей, дважды меня навещала тетушка Мэй и обсуждала привычные дела с непривычной для нее мягкостью. Дорогая тетя Мэй! Если бы она только знала, как мне хотелось поговорить с ней! Но я понимала, что, начав, должна буду выплеснуть на нее все, рассказать о том, в чем не готова была признаться даже себе, – и потому я молчала и притворялась, что счастлива и что в этом холодном и унылом здании я – дома. Конечно, мне не удалось обмануть тетушку Мэй, но ради меня она старалась скрывать неприязнь к Генри и роняла короткие натянутые фразы, выпрямившись в кресле.

Генри любил ее не больше, чем она его, ядовито отмечая, что ее визиты определенно меня утомляют. Тетя ответила какой-то колкостью. Торжествуя, Генри заявил, что, пожалуй, ей стоит воздержаться от посещения этого дома, пока она не научится разговаривать вежливо, и что он не намерен заставлять свою жену выслушивать подобное. Тетушку Мэй втянули в неосмотрительные препирательства и погребли под градом взаимных упреков. Я смотрела в окно на удаляющийся маленький серый силуэт на фоне мрачного неба и понимала, что желание Генри исполнилось. Я была только его, навсегда.

Пришел март, и, хотя по-прежнему было очень холодно, все-таки светило солнце и в воздухе чувствовался намек на скорую весну. Из гостиной открывается прекрасный вид на сад с прудом и аккуратными клумбами, и в то утро я позировала Генри у широкого эркера. Я была еще очень бледна, но яркое солнце согрело мои щеки и распущенные волосы, и я понимала, что довольна и благополучна.

Ах, если бы я была сейчас в саду, чтобы прохладный ветер шевелил юбки, чтобы влажная трава касалась лодыжек. Мне хотелось вдохнуть запах земли, лечь на нее, впитаться в нее, кататься по траве, словно играющая кошка...

– Эффи, не шевелись! – Окрик Генри вернул меня в реальность. – Повернись в три четверти, пожалуйста, и смотри, чтобы цимбалы не падали, я за них, знаешь ли, немало заплатил. Вот, так лучше. Не забывай, если это вообще возможно, я хочу, чтобы картина была готова к выставке, а времени осталось не много.

Я приняла нужную позу и поправила инструмент на коленях. Последняя идея Генри – «Дева с цимбалами»[8 - Образ из поэмы «Кубла Хан, или Видение во сне»

английского поэта-романтика Сэмюэла Тейлора Кольриджа (1772–1834).]. Он работал над картиной уже четыре недели; я на ней предстану в виде таинственной девушки из поэмы Кольриджа. Генри она виделась так: «Девочка-подросток, вся в белом, сидит на садовой скамейке, поджав под себя ногу, трогательно погруженная в свои музыкальные занятия. За ней простирается лес, а вдали – сказочная гора».

Я знала стихотворение наизусть и нередко воображала «абиссинскую деву». Я осмелилась сказать, что, по-моему, она должна выглядеть куда ярче и экзотичнее, чем безжизненная девочка, которую я изображаю, но ответ мистера Честера ясно дал понять, сколь невысокого мнения он о моем вкусе – художественном, литературном или каком бы то ни было. Мои опыты в живописи и поэзии были тому подтверждением. И все же я помню кое-что, еще до того как Генри запретил мне тратить время на то, к чему у меня не было никаких талантов; помню, что смотрела на холст, как на яростный звездный водоворот, и чувствовала восторг – восторг и зарождающуюся страсть.

Страсть?

Первая ночь нашего супружества, когда мистер Честер пришел ко мне и в глазах его я увидела вину и волнение, научила меня всему, что следовало знать о страсти. Мой невинный пыл моментально остудил его возбуждение; при виде моего тела он упал на колени не от счастья, но от раскаяния. С тех пор его акт любви был актом покаяния для нас обоих – холодное неудобное соитие, будто сошлись два локомотива. После зачатия ребенка прекратилось даже это.

Я этого не понимала. Папа всегда говорил мне, что в физическом акте любви между мужчиной и женщиной нет вреда, он говорил, что это награда Бога за произведение потомства. Он часто повторял, что мы – существа чувствующие, невинные до тех пор, пока дурные мысли не нарушат этой невинности. Наш первородный грех заключался не в поиске знания, но в том стыде, который испытали Адам и Ева от своей наготы. Этот стыд изгнал их из райского сада, и тот же стыд не пускает нас в сад до сих пор.

Бедный папа! Он бы никогда не понял ледяного презрения на лице Генри, когда тот отпрянул от меня.

– Женщина, неужто в тебе совсем нет стыда? – воскликнул он.

Стыд? Я не знала его, пока не узнала Генри.

И все же во мне жил огонь, который не смогли погасить ни смерть ребенка, ни холод супруга. Иногда, сквозь ледяную пелену, что окутывала мою жизнь, я чувствовала шевеление чего-то иного, почти пугающего. Наблюдая за лицом Генри, когда он рисовал меня, я вдруг испытала отвращение. Я хотела бросить цимбалы на пол, прыгать, танцевать нагой под весенним солнцем, ничего не стыдясь. Не в силах побороть желание, я вскочила на ноги и отчаянно закричала во весь голос... Но Генри меня не слышал. Он все так же самодовольно рассматривал набросок, на секунду бросая взгляд на что-то позади меня и снова возвращаясь к рисунку. Я резко повернулась и увидела саму себя, в той же позе, с цимбалами на коленях.

Какое облегчение, какой восторг. Я никому не рассказывала о том случае в церкви, хотя часто думала о нем, убеждаясь, что причиной всему был опиум и вряд ли подобное повторится. Но в этот раз я уже целый день не принимала свои капли, я не была больна, не испытывала тошнотворного головокружения, как тогда. Я осторожно оглядела себя; мое новое «тело» было белой обнаженной копией того, что я временно покинула. Казалось, оно испускало призрачный серебристый свет. Я чувствовала ворс ковра под ногами и свежий воздух, ласкающий кожу. Меня переполняли энергия и возбуждение, все чувства обострились и обрели новые измерения вне суеты тела.

Я осторожно приблизилась к своему физическому телу, гадая, затянет ли меня назад, если я до него дотронусь. Рука прошла сквозь одежду и плоть, не встретив сопротивления. На миг я оказалась в странном, пограничном состоянии, тело, словно полуспущенная ночная сорочка, обвивалось вокруг моей настоящей, живой сущности. И я заставила себя вернуться. Какое-то мгновение мир неохотно приспособивался ко мне, но затем я снова выпрыгнула, ликуя от того, что теперь, кажется, способна проделывать этот трюк, когда вздумается. Уверенность моя росла, и я беспечно пересекла комнату. Подталкиваемая новым желанием проказничать, я стала выписывать пируэты вокруг головы Генри, но ничто не отвлекало его от рисования. Спустившись, я подбежала к окну и выглянула на улицу, я была почти готова выпрыгнуть сквозь стекло, но боялась слишком удалиться от тела. Быстро обернувшись, я убедилась, что все в порядке, и, отбросив осторожность и все свои земные ноши, прошла сквозь стекло в сад.

Так, должно быть, гусеница мечтает о полете, такие сны видит куколка насекомого в темной шелковой колыбели.

А я? В какое хрупкое смертоносное создание вылупится моя куколка?

Буду ли я летать?

Или жалить?

5

Знаете, она лжет. Я никогда не был суров с ней, никогда. Я любил ее больше, чем любая женщина имеет право быть любимой: я поклонялся ей, отдал за нее свою душу. Я дал ей все, чего она хотела: свадьбу в белом платье, свой красивый дом, свое искусство, свою поэзию. В день, когда она вышла за меня замуж, я был счастливейшим из живущих.

Она все испортила, как до нее это сделала Ева в Эдеме. Я усердно занимался ее воспитанием, но семя уже было в ней. Мне следовало знать.

Что она вам сказала? Что я отталкивал ее? Что был холоден? Я помню, как она ждала меня в нашей спальне после свадебного торжества: вся в белом, с распущенными волосами, разбросанными по подушкам, по спинке кровати, подметавшими пол. На миг мне показалось, что она спит. Я подкрался, боясь разбудить ее, и невыносимая нежность разлилась по моему телу. Больше всего мне хотелось лечь с ней рядом, вдыхать ее аромат, запах сирени, исходящий от ее волос. Благословенный миг: во мне не было вожделения, только желание сна, ее сладости и невинности, и, когда я положил голову на подушку рядом с ней, в глазах моих стояли слезы.

На секунду все застыло, потом она открыла глаза. Я увидел собственное отражение, как в ведьмином хрустальном шаре, крохотную соринку на ее зрачках. Холодными бледными руками она обвила мою шею. Сам того не желая, я ответил. Прежде я даже ни разу не целовал ее, и теперь, когда ее губы встретились с моими, я окунулся в нее, лаская ее волосы и нежные груди...

Я должен был тогда умереть: не рожден мужчина, чтобы терпеть ее блаженство и ее муку. Я чувствовал жар сквозь тонкую ткань ее ночной сорочки, отклик моей пробуждающейся плоти... и вдруг перенесся назад в тот день, в комнату матери – снова запах жасмина и неистовое, дьявольское возбуждение, овладевшее мною тогда, преследующее меня до сих пор. Я не мог двинуться. Не мог даже отвернуться. Наверное, я закричал от отчаяния и отвращения к себе. Эффи вцепилась в меня как фурия. Когда я попытался сбросить ее, она обхватила меня и прижала к подушке, обвивая длинными ногами, впиваясь в мои губы.

Я чувствовал соль на ее губах, тонул в ней, ее волосы лезли мне в рот, в глаза, оплетали меня, словно паутина чудовищной паучьей богини. Она сбросила ночную сорочку, будто змея – кожу, и оседлала меня, превратившись в ужасную кентаврессу, откинув голову вопреки скромности и благопристойности. Какое-то мгновение я не мог делать ничего – только отвечать, во мне не осталось ни одной мысли – только похоть.

Опомнившись, я с ужасом вжался в матрас: куда делась моя девочка-нищенка, моя спящая красавица, моя бледная сестра? Куда делся ребенок, которого я воспитал? Она была взрослой и горела темным пламенем желания. Она закрыла глаза, и мне удалось разрушить чары. Я оттолкнул ее со всей жестокостью, на какую способны были мои ослабевшие члены. Ее глаза распахнулись, и я снова едва не утонул в их глубине, но, собрав остатки рассудка, отвернулся.

Она была бесстыдна. Эта девочка отказала мне в последней надежде на спасение, и я с горечью это осознавал. Я ощущал соль ее поцелуя во рту, ее прикосновение на коже и проклинал слабую грешную плоть. Я проклинал и ее, Еву моего падения: проклинал ее белую кожу, и бездонные глаза, и волосы, что заставили меня обезуметь от желания. Слезы струились по моим щекам; я опустился на колени и стал молиться о прощении. Но Бог покинул меня, лишь демоны моей похоти резвились в темноте. Эффи не понимала, почему я отвернулся от нее, и пыталась слезами и ласками отвлечь меня от покаяния.

– Что не так? – тихо спросила она.

Если бы я не знал, что и она одержима тем же демоном, я мог бы поклясться, что она чиста. Голос ее дрожал, как у маленькой девочки, а руки обвивали мою шею с той же нежностью и любовью, как в былые времена, когда ей было десять лет.

Я не осмелился ответить и, оттолкнув ее, яростно стиснул кулаки.

- Пожалуйста... Генри...

Впервые она назвала меня по имени, и от намека на близость, что скрывался в этом обращении, я покаянно застыл.

- Не называй меня так!

Растерявшись, она нашла мою руку, пытаюсь успокоить то ли меня, то ли себя, не знаю.

- Но...

- Молчи! Разве ты уже не достаточно натворила?

Возможно, она действительно не знала, какой непоправимый вред причинила. Я чувствовал ее замешательство и ненавидел ее за попорченную, поруганную невинность. Она заплакала, и я возненавидел ее еще сильнее. Лучше бы ей умереть, чем устраивать эту похотливую схватку в жаркой ночи! Лучше бы ей умереть, бешено твердил я. Ее бесстыдство уничтожило мою маленькую девочку в ту самую ночь, когда она должна была стать моей. Она прокляла нас обоих, и теперь она будет со мной до конца своей жизни – живое напоминание о гибели всех моих иллюзий.

- Я не понимаю. Что я сделала не так?

В темноте голос Эффи звучал так искренне, так беззащитно.

Я горько рассмеялся.

- Я думал, ты такая чистая. Я думал, пусть все остальные женщины – даже моя собственная мать – шлюхи, по крайней мере тебя это не запятнало.

- Я не...

– Слушай! – рявкнул я. – Я видел, как ты росла. Я держал тебя вдали от остальных детей. Я защищал тебя. Где ты этому научилась? Кто тебя научил? Когда я писал с тебя Марию, и Джульетту, и Монастырский цветок, ты уже тогда по ночам извивалась в постели, грезя о любовнике? Ты гляделась в зеркало майской ночью и видела, как оттуда он смотрит на тебя? – Я встряхнул ее за плечи. – Скажи мне!

Она вырвалась из моих рук, дрожа. Но даже тогда ее обнаженное тело возбуждало меня, и я набросил на нее одеяло.

– Прикройся, ради бога! – закричал я, кусая губы, чтобы справиться с истерикой.

Она натянула одеяло до плеч, ее огромные глаза были непроницаемы.

– Я не понимаю, – наконец сказала она. – Я думала, ты меня любишь. Почему ты боишься сделать меня своей женой?

– Я не боюсь! – резко и зло ответил я. – Мы столько могли бы разделить с тобой. Зачем попирать все это ради одного-единственного акта? Моя любовь к тебе чиста, чиста как любовь ребенка к матери. Ты же превращаешь ее в нечто постыдное.

– Но то, что приносит удовольствие... – начала Эффи.

– Нет! – перебил я. – Это не истинная, незапятнанная радость чистого супружества. Она может существовать только в Боге. Плоть – территория дьявола, а все его удовольствия суть грязь и порок. Эффи, верь мне. Мы выше этого. Я хочу сохранить тебя невинной. Я хочу сохранить тебя прекрасной.

Но она отвернулась к стене, кутаясь в одеяло.

Валет монет[9 - Если карта легла правильно, валет монет указывает на молодого человека, усердного работника, пытливого и дотошного. Перевернутая карта – одинокий, благоразумный, трудолюбивый, но несколько медлительный человек. Монеты (или пентакль) в картах Таро – масть, соответствующая червам в игральных картах.]

Валет червей, дорогой мой, червей или сердец. Будьте любезны, величайте меня надлежащим именем. Даже у валетов есть гордость, знаете ли. Немало сердец у меня про запас. Одно для любовницы – это раз. Второе – в подарок почтенной мадам. А третье – на паперти нищей отдам[10 - Перевод О. Пенькова.], но, заметьте, только для того, чтобы ее утешить. А что они дали мне взамен? Несколько вздохов, перепихон на скорую руку и столько слез, что ими можно было ванну наполнить. Женщины! Вечная моя погибель, но я не могу без них. Клянусь, в аду я буду флиртовать с маленькими дьяволицами – люблю погорячее.

Что такое?

А, ну да – история. Вижу, я вам неприятен. Но вы выпустили меня на сцену, и пока что я не собираюсь уходить. Кури свою трубку, старик, и не мешай. Позвольте представиться.

Мозес Закери Харпер, поэт, немного художник, грешник, дамский угодник, гедонист, валет червей и туз жезлов, некогда любивший и потерявший миссис Юфимию Честер.

А что же добрый Генри?

Скажем, возникли непредвиденные осложнения, возможно, женщина (кто знает?)... быть может, доля правды в шутке, отпущенной в адрес праведного мистера Честера. Достаточно будет слова «холодность», профессиональная холодность. Мистеру Рёскину понравилась моя картина «Содом и Гоморра», и он благосклонно отозвался о ней в прессе. Что это было за полотно! Три сотни тел, сплетенных в восторженных объятиях! И каждый дюйм женской плоти отвоевывал территорию! Благочестивый мистер Честер презирал меня от всего сердца, но завидовал моим связям. По правде говоря, связей-то не было – ну, то есть с той стороны супружеской постели, где они пользительнее, – хоть мне и удалось выудить из-под кружевных юбок пару-тройку никчемных одолжений.



Вообразите наш разговор за чаем.

– Не хотите ли чашку чая, мистер Харпер? Я слышал, ваша выставка прошла с некоторым успехом...

Лицо у бедного Генри постное, как у старой девы. Ваш покорный слуга одет небрежно – никакой шляпы, рубашка расстегнута, – отмеривает продуманные оскорбления («Мне кажется, я вижу влияние сэра Джошуа Рейнолдса в той последней работе, мой дорогой друг...»). Признаюсь, я был жалом в его плоти. Бедный Генри не был рожден художником, он не обладал артистическим темпераментом и вместо этого демонстрировал удручающую склонность жить непорочно, ходить в церковь и тому подобное – я никогда не упускал случая связвить на этот счет.

Представьте мое удивление, когда, вернувшись из долгой заграничной поездки, я узнал, что он женился! Сначала я развеселился, потом не поверил. О, он по-своему привлекателен, но любая женщина, обладающая хоть граммом здравого смысла, поймет, что в нем не больше страсти, чем в куске бекона. Что, впрочем, лишь доказывает, что у большинства женщин этого грамма здравого смысла нет.

В конце концов мне стало ужасно любопытно. Хотелось посмотреть, что за заблудший образчик слабого пола попался в его ловушку. Простая девушка, думал я, несомненно, оплот местной церкви и умеет рисовать акварели. Я навел справки в артистических кругах и узнал, что Генри женат уже почти год, что жена его крайне болезненна и что в январе она разрешилась мертвым ребенком. По общему мнению, она была весьма красива какой-то особой, необычной красотой. Мне сказали, что Генри готовит выставку, приуроченную к годовщине их свадьбы, и, понимая, что это, пожалуй, единственный способ сделать так, чтобы старый синий чулок меня принял, я вознамерился посетить это мероприятие.

Он решил устроить выставку в своем доме в Хайгейте, на Кромвель-сквер – по моему, ошибка. Следовало бы снять небольшую галерею – где-нибудь на Чатем-плейс, к примеру. Но ему бы никогда не хватило духа выставяться под самым носом у своих прерафаэлитских кумиров. К тому же он с самого начала нацелился на выставку в Академии, я слишком хорошо знал его и не ожидал, что он согласится на что-нибудь поскромнее. Как положено, объявление напечатали в «Таймс», затем разослали робкие приглашения влиятельным критикам и

художникам (меня в списке, разумеется, не было).

Я пришел около двенадцати, позавтракав в ресторанчике неподалеку. Подходя к дому, я заметил, что у ворот топчутся несколько человек, будто не понимая, ждут их или нет. Я узнал Холи Ханта и Морриса – он сердито хмурился в ответ на какое-то замечание Ханта, – а рядом с ним миссис Моррис, словно сошедшая с полотна Россетти; на мой вкус, она как-то чересчур. Однако Генри будет доволен, лишь бы ему не пришлось с ними разговаривать: он не выносит эксцентриков и грубиянов, а судя по тому, что я слышал о Моррисе, он не жалуется на пыщенных ослов вроде Генри.

Заметив своих друзей, которые только явились, я присоединился к ним, не переставая удивляться, зачем они пожаловали на это мероприятие. Он – молодой поэт-неудачник по имени Финглас, она – его муза Дженни. Я ухмыльнулся, услышав, как он представляет ее старой склочнице экономке, поджавшей губы, как «миссис Финглас», – экономка умудрилась ответить взглядом скептическим и вежливым одновременно, и мы зашли в дом.

Как же это типично для Генри Честера – устроить выставку а *domicile*[11 - До?ма (фр.)], не успела жена оправиться от тяжелой болезни, подумал я, оказавшись внутри. Я уверен, он оскорбился бы до глубины души, если бы кто-то ему на это указал. Я знал, что за человек Генри: все его натурщицы в один голос твердили, что, хотя платил он неплохо, за мольбертом он был «сущий тиран», приходил в бешенство, если девушка всего лишь меняла позу, забывал, что им необходимо отдыхать, и вдобавок ко всему читал нравоучения этим несчастным созданиям, большинство из которых оказались на улице вовсе не по своей вине и выбирали эту работу как более высокооплачиваемую и уважаемую форму проституции.

Всего собралось около дюжины посетителей – некоторые рассматривали холсты в рамках в коридоре, но большинство переместились в гостиную, где была выставлена основная часть работ. В центре Генри многословно вещал что-то маленькому кружку восторженных ничтожеств, потягивающих херес и фруктовую наливку. Генри взглянул на меня, когда я вошел, и поприветствовал коротким кивком. Я победно улыбнулся, налил себе хересу и лениво двинулся к картинам – как я и ожидал, абсолютно бездарным.

В этом человеке не было огня: картины тусклые, причудливые, но безжизненные, и сентиментальность его заурядной души так же очевидна, как и недостаток страсти. Пожалуй, писать он умел, и натурщица мне показалась

вполне интересной, но, к сожалению, довольно бесцветной. Очевидно, это была его постоянная модель: ее лицо смотрело на меня почти из каждой рамы. Странное маленькое создание, она была далека от современных стандартов красоты – детской фигуркой и бледными распущенными волосами напоминала средневековых дев. Может, любимая племянница? Я изучил подписи к картинам: «Джульетта в гробнице», «Навсикая», «Маленькая нищенка», «Холодное венчание»... Неудивительно, что девочка так печальна – на каждом холсте она изображалась в какой-то жуткой, мрачной роли... умирающая, мертвая, больная, слепая, брошенная... худенькая и жалкая, точно мертвый ребенок, Джульетта, завернутая в саван, нищенка в обносках, испуганная и потерянная Персефона в шелках и бархате.

От критических раздумий меня отвлек скрип двери. В изумлении я увидел на пороге девушку с картин Генри. Я узнал ее черты, но Генри показал ее далеко не с лучшей стороны. Восхитительное существо, похожее на серебряную березку, с чудесной тоненькой талией, изящными нежными пальчиками с длинными ногтями и ротиком, готовым расцвести от поцелуя. В скромном платье из серой фланели она выглядела совсем девочкой. Я предположил, что это племянница или даже профессиональная натурщица, которую он где-то раздобыл. В тот момент мысль о миссис Честер даже не пришла мне в голову, и я совершенно невинно поприветствовал красотку:

– Меня зовут Моз Харпер. Как поживаете?

Она покраснела и что-то пробормотала, оглядываясь по сторонам большими испуганными глазами, словно боялась, что кто-то увидит ее со мной. Может, Генри предупреждал ее обо мне. Я улыбнулся.

– Генри напрасно пытался написать вас, – сказал я. – Я всегда считал, что это неправильно – улучшать природу. Могу я спросить, как вас зовут?

Еще один осторожный взгляд на Генри, но тот все еще был занят беседой.

– Эффи Честер. Я...

Снова нервный взгляд.

– Вы родственница Генри? Как интересно. Надеюсь, не из рассудительной ветви семейства?

Еще один взгляд. Красотка решительно опустила голову и что-то пробормотала без тени жеманства. Я понял, что действительно смутил ее, и, решив, что тут пахнет синим чулком, сменил тему.

– Я великий почитатель работ Генри, – смело соврал я. – Можно сказать, я его коллега... его последователь.

Фиалковые глаза моргнули, не то удивленно, не то насмешливо:

– Это правда?

Чертова кокетка, она смеялась надо мной! Да, именно смех светился в этих глазах, и лицо ее неожиданно засияло. Я ухмыльнулся:

– Нет, неправда. Вы разочарованы?

Она покачала головой.

– Мне не нравится его стиль. Но в исходном материале я не нахожу никаких недостатков. Бедный Генри – рисовальщик, а не художник. Дайте ему красивое спелое яблоко, и он поместит его на фоне экрана из шелка и попытается нарисовать. Пустая трата времени. Ни яблоко, ни зрители не оценят его усилий.

Ее это озадачило, но заинтересовало. Она перестала оглядываться на Генри всякий раз, когда хотела что-то сказать.

– Ну а что вы бы сделали? – осмелела она.

– Я? Я думаю, чтобы писать жизнь, нужно эту жизнь знать. Яблоки надо есть, а не рисовать. – Я лукаво подмигнул ей и улыбнулся. – А прекрасные юные девушки похожи на яблоки.

– О!

Она прикрыла рот ладонью и перевела взгляд с меня на Честера – он только что узрел Холмана Ханта среди своих гостей и был поглощен серьезным разговором. Она отвернулась почти в панике. Нет, она не кокетка, совсем наоборот. Я взял ее за руку, ласково развернул к себе.

– Простите меня. Я пошутил. Больше не буду вас дразнить.

Она взглянула на меня, пытаюсь понять, говорю ли я правду.

– Я бы поклялся честью, но у меня ее нет, – сказал я. – Наверное, Генри предостерегал вас на мой счет. Да?

Она молча покачала головой, вовсе замкнувшись.

– Нет, наверное, не предостерегал. Скажите, вам нравится быть натурщицей? Интересно, Генри делится вами со своими друзьями? Нет? Мудрый Генри. Боже, теперь-то в чем дело?

Она снова отвернулась, но я успел прочесть подлинное страдание на ее лице. Тербя мягкую ткань платья, она вдруг сказала тихо, но настойчиво:

– Пожалуйста, мистер Харпер...

– Что такое?

Я колебался между раздражением и беспокойством.

– Пожалуйста, не говорите о натурщицах! Не говорите о несчастных картинах. Все спрашивают о картинах. Я их ненавижу!

Это уже интересно. Я заговорщически понизил голос:

– Вообще-то я тоже.

Она невольно хихикнула, и взгляд ее больше не был взглядом раненой лани.

– Я ненавижу каждый день делать одно и то же, – продолжала она, словно во сне. – Всегда быть хорошей, тихой, вышивать, сидеть в красивых позах, когда на самом деле я хочу...

Она снова замолчала, должно быть поняв, что едва не переступила границ приличия.

– Но, наверное, он вам неплохо платит, – предположил я.

– Деньги!

Презрение было столь очевидно, что я отбросил всякие мысли о том, что она профессиональная натурщица.

– К сожалению, я не обладаю вашим здоровым к ним пренебрежением, – весело сказал я. – А уж тем более мои кредиторы.

Она снова хихикнула.

– Да, но вы же мужчина, – неожиданно серьезно произнесла она. – Вы можете делать, что хотите. Вам не...

Ее голос печально стих.

– А чего бы вы хотели? – спросил я.

Она секунду смотрела на меня, и я почти разглядел что-то в ее взгляде... будто намек на призрачную страсть. Всего секунду – и лицо ее снова побледнело.

– Ничего.

Я открыл было рот, но почувствовал, что кто-то стоит рядом. Повернувшись, я увидел, что Генри, безупречно рассчитав время, наконец-то оставил Ханта общаться с другими гостями. Девушка напряглась, лицо ее застыло, и я подумал: что за власть Генри имеет над ней, если она перед ним так трепещет. И это не просто трепет – в ее глазах появился чуть ли не ужас.

– Добрый день, мистер Харпер, – со скрупулезной вежливостью произнес Генри. – Вижу, вы ознакомились с моими полотнами.

– Конечно, – ответил я. – И хотя они, безусловно, недурны, я не мог не заметить, что они едва ли передают все очарование натурщицы.

Этого говорить не следовало. Спокойные глаза Генри сузились, и он смерил меня ледяным взглядом. Голос его заметно похолодел, когда он наконец представил ее:

– Мистер Харпер, это моя жена, миссис Честер.

Вы, должно быть, заметили, что я не лишен обаяния, – так вот, всю его силу я направил на то, чтобы свести на нет свои прежние faux pas [12 - Неверный шаг, промах, бестактность (фр.).] и произвести хорошее впечатление. Через пару минут бесстыдной лести Генри снова растаял. Заметив, как девушка-березка смотрит на меня, я поклялся, что отдам ей свое сердце. По крайней мере, на время.

В первую очередь мне требовался доступ к красотке. Поверьте, чтобы соблазнить замужнюю женщину, нужны терпение и стратегия, а также прочная позиция в стане врага. Я не мог представить, каким образом такому распутнику, как я, удастся проникнуть в ее жизнь и в ее душу. Терпение, Моз, думал я. Нам предстоят часы светских бесед!

Во время разговора я предпринимал всевозможные попытки соблазнить, но не жену, а мужа. Я восхищался Холманом Хантом, которым, как я знал, восхищается Генри; сокрушался о новых декадентских тенденциях у Россетти; рассказывал о своей жизни за границей; проявлял интерес к новому полотну Генри (ужасная идея, под стать всем его предыдущим ужасным идеям) и наконец выразил желание, чтобы он написал меня.

– Портрет?

Генри был весь внимание.

– Да... – нерешительно и с должной скромностью ответил я. – Или исторический сюжет, что-нибудь средневековое... или библейские мотивы... По правде, я об этом еще не думал. Однако я уже давно восхищаюсь вашим стилем, вы же знаете, а после этой на редкость удачной выставки... На днях я сказал о ней Суинберну[13 - Суинберн Алджернон Чарлз (1837–1909) – английский поэт и критик, известный смелыми экспериментами в стихосложении, член движения прерафаэлитов, близкий друг Россетти.] – на самом деле, это он подкинул мысль о портрете.

Это было легко: я знал, что такой пуританин, как Генри, вряд ли станет разговаривать с человеком вроде Суинберна, чтобы проверить мои слова, но ему, как и мне, было известно об отношениях между Суинберном и Россетти. От самодовольства он раздулся как на дрожжах. Он пристально разглядывал мое лицо.

– Красивые черты, если позволите, – протянул он. – Не стыдно будет перенести их на холст. Анфас, что скажете? Или в три четверти?

Я было осклабился, но быстро сменил плотоядную ухмылку на улыбку.

– Я в ваших руках, – сказал я.

7

Когда дверь открылась и я впервые увидела его, я поняла, что он увидел меня. Не это тело, но меня истинную, обнаженную и беспомощную. Мысль пугала и будоражила одновременно. На миг мне захотелось танцевать перед незнакомцем, выставляя напоказ бесстыдство, переполнявшее бледную оболочку тела, которую я могла отбросить когда угодно, незамеченная мужем.

Не могу объяснить эту странную игривость, что овладела мной. Возможно, ощущения мои обострились из-за недавней болезни или из-за опиумной настойки, которую я приняла накануне от головной боли, но, впервые увидев Моза Харпера, я поняла, что он воистину плотское создание, подчиняется лишь собственным желаниям и стремится к удовольствию. Наблюдая за ним,



разговаривая с ним под невнимательным взглядом мужа, я убедилась, что он – все, чем я не была. Он, будто солнце, излучал энергию, самоуверенность, независимость. Но главное – в нем не было стыда, абсолютно никакого, и это бесстыдство непреодолимо влекло меня. Он коснулся моей руки, его тихий ласковый голос таил обещание наслаждения, и я почувствовала, как горят щеки, но не от стыда.

Я тайком разглядывала его, когда он беседовал с Генри. Не помню ни одного слова, но тембр его голоса заставлял меня блаженно трепетать. Он был лет на десять младше Генри: угловатая фигура, заостренные черты и насмешливая гримаса, длинные волосы экстравагантно и старомодно перевязаны над загривком. Одет намеренно небрежно, даже для утреннего визита, – и без шляпы. Мне понравились его глаза, голубые и прищуренные, словно он все время смеялся, и легкая, насмешливая улыбка. Уверена, он заметил, что я наблюдаю за ним, но лишь улыбнулся и продолжил разговор.

Меня поразило, что он заказал портрет моему мужу. Тот считал Моза Харпера нахалом и бездельником, годным лишь на то, чтобы писать мерзости, бессмысленные и безвкусные. А теперь Генри снисходительно вещал, что Моз – «юный проказник», и путешествия по свету «безусловно, положительно на нем сказались», и однажды он, несомненно, станет «прекрасным художником», поскольку работам его присуща «четкость линий и некоторая оригинальность стиля».

Несколько дней Генри размышлял над портретом, то предлагая, то отвергая различные сюжеты типа «Юного Соломона» или «Якобита». Моз составил собственный список, включавший «Прометея», «Адама в Саду» (которого Генри отверг из-за, как он выразился, «степени скромности, которая потребна для подобного сюжета») и «Игроков в карты».

Последний пункт заинтересовал Генри, и позже он встретился с Мозом в студии, чтобы все обсудить. Моз сказал, что идею ему подсказало стихотворение французского поэта Бодлера (я не была знакома с его произведениями, но мне говорили, что они весьма шокируют, и меня вовсе не удивляет, что Бодлер – любимый поэт Моза), в котором:

Le beau valet de coeur et la dame de pique

Causent sinistrement de leurs amours defunts[14 - Лихой валет червей и дама пик твердят // О мертвой их любви, истлевшей век назад (фр.). Бодлер Ш. Сплин (из цикла «Цветы зла»). Перевод Г. Шенгели.].

Эти строки вызвали у Моза какие-то воспоминания, он видел на холсте «дешевое парижское кафе, на полу опилки, бутылки абсента на столе. За столом сидит молодой человек, в руках у него червовый валет; красавица рядом с ним только что пошла с дамы пик».

Генри не сразу увлекся этим сюжетом – счел его слишком низменным. Сам он хотел писать Моза в средневековом платье, «сидит под простыми солнечными часами, играет на виоле; позади него садится солнце, а мимо следует конная процессия – дамы держат в руках музыкальные инструменты, лица их скрыты вуалями». Картина должна была называться «Плач менестреля».

Моз вежливо отклонил предложение. Он не представлял себя в обличье средневекового менестреля. К тому же надо было думать и о заднем плане. На средневековый пейзаж и всадниц могут уйти месяцы. Куда проще выбрать темный интерьер и сконцентрироваться на самом портрете, не так ли?

Довод был весьма разумный, и Генри нехотя согласился. Если работа будет выполнена со вкусом, с сюжетом можно смириться. Он был решительно против того, чтобы гравировать на раме французское стихотворение, но Моз заверил его, что это вовсе необязательно. Генри начал строить планы насчет нового полотна, забросив на время «Деву с цимбалами», к моему несказанному облегчению.

Не знаю, какую плату Моз пообещал Генри за картину, но муж был полон надежд. Конечно, Моз, используя свои связи, устроит так, что ее выставят в Королевской академии, и это поспособствует развитию карьеры Генри. Мне было все равно. Наш с Генри доход не зависел от его картин. Заработанные деньги служили для самоудовлетворения, были доказательством его таланта. Меня же его новая картина интересовала лишь потому, что долгая работа с натуры давала мне возможность видеться с Мозом почти каждый день.

Мне никогда не нравился Моз Харпер. Весьма опасный и расчетливый тип; поговаривали, что он замешан в бесчисленных темных делишках, от подделок до шантажа, однако эти слухи, которые по необъяснимым причинам вели к еще большему успеху у женщин, так и остались слухами.

Лично я считал его ничтожным человечешкой, не обладающим нравственными устоями и еще в меньшей степени – хорошими манерами, за исключением тех случаев, когда он прилагал усилия, чтобы произвести впечатление. Он был в каком-то смысле художник, однако те работы, что я видел, как картины, так и стихи, казалось, имели целью шокировать публику, и только. В его работе не было ни гармонии, ни правды жизни; он получал удовольствие от гротеска, абсурда и вульгарности.

Хоть я и не люблю сомнительную компанию, я понимал, что приобретенные им связи могут быть мне полезны. Кроме того, моя идея портрета была превосходна, и картина, весьма вероятно, привлекла бы внимание Академии. Я уже представил на рассмотрение «Маленькую нищенку» и «Спящую красавицу» – отзывы критиков вдохновляли, хотя «Таймс» осудила мой выбор натурщицы, назвав ее «безжизненной», и посоветовала расширить набор сюжетов. Потому я оставил текущую работу и немедленно принялся за этюды, хотя столь тесный контакт с Харпером претил мне – ввиду его репутации я не хотел, чтобы Эффи с ним общалась. Не то чтобы она стала потворствовать его ухаживаниям, вы понимаете, но меня бесила мысль о том, что он будет смотреть на нее, унижая, желая ее.

Однако выбора у меня не было: Эффи снова болела, и я устроил небольшую студию наверху. Харпер, как правило, сидел в саду или в гостиной, и я делал наброски с разных ракурсов, а Эффи вышивала или читала и, казалось, была вполне довольна нашей молчаливой компанией. Она не проявляла никакого интереса к Харперу, но это едва ли меня успокаивало. Возможно, я был бы терпеливее, проявляй она чуть больше живости.

Эффи не могла думать ни о чем, кроме своих книг. Несколько дней назад я застал ее за чтением совершенно неподобающего романа, отвратительной вещицы, написанной некой Эллис Белл[15 - Псевдоним английской писательницы и поэтессы Эмили Джейн Бронте (1818–1848).], – «Грозовой перевал» или какая-то подобная чепуха. Из-за этой чертовой книги она заработала очередную мигрень, и когда я забрал томик – я желал Эффи только

добра, неблагодарное создание, – она посмела устроить мне гневную истерику, кричала, что я, видите ли, не имею права забирать ее книги! Она рыдала и вела себя как испорченный ребенок, каковым, собственно, и была. Ее смогла успокоить только основательная доза опиумной настойки, и следующие несколько дней Эффи провела в постели – она была слишком слаба и раздражена, чтобы встать. Когда она почти выздоровела, я сообщил ей, что уже давно подозревал: она слишком много читает и от этого у нее появляются причуды. Мне не нравилась эта порожденная ленью болезненность, которую и поощряли книги. Я сказал Эффи, что не возражаю против полезных христианских книг, но запретил романы и вообще все, кроме самой легкой поэзии. Она и так была слишком эмоционально неустойчива.

Что бы она вам ни говорила, я не был злым. Видя ее неуравновешенность, я поощрял ее к занятиям, подходящим молодой женщине. Вышивка лежала нетронутой неделями, и я заставил Эффи снова взяться за рукоделие. Не ради себя, нет – ради нее. Я знал, что ей хотелось иметь талант, подобный моему. Ребенком она часто пробовала рисовать сцены из любимых стихотворений, но я всегда был честен с Эффи, я не льстил ей, чтобы завоевать привязанность, но говорил суровую правду: женщины, как правило, не созданы для творчества, у них кроткие, домашние таланты.

Но она была упряма и упорно продолжала малевать – говорила, что рисует то, о чем грезит. Грезы! Я сказал, что ей следует меньше грезить и уделять больше внимания своим супружеским обязанностям.

Видите, я действительно заботился о ней. Я слишком сильно любил ее, чтобы позволить ей обольщаться тщеславными надеждами. Я так долго хранил ее чистоту, жил с ее несовершенством, прощал за злое семя, что она несла в себе, подобно всем женщинам. А что она давала мне взамен? Мигрени, капризы, глупость и ложь. Да не обманет вас, как меня, ее невинное личико! Как и моя мать, она была отравлена, бутон ее распускающейся юности запятнан изнутри. Но разве я мог предвидеть? Господь в своей безжалостной ревности поместил ее на моем пути, дабы испытать меня. Пустите одну женщину, всего лишь одну, в Царство Небесное, и, клянусь, она низвергнет всех святых одного за другим: ангелов, архангелов – всех.

Будь она проклята! Из-за нее я стал таким, каким вы меня видите сейчас, – ущербным, падшим ангелом, несущим змеиное семя в своих застывших недрах. Разрежьте яблоко и увидите внутри Звезду, в которой покоятся семена

проклятия. Бог знал это уже тогда, всезнающий и всевидящий. Как он, должно быть, смеялся, вынимая ребро из тела спящего Адама! Даже сейчас мне кажется, что я слышу его смех... и в темноте плюю и проклиная свет. Двадцать гранов хлорала, чтобы купить Твое молчание.

9

Две недели я довольствовалась тем, что смотрела на него и ждала. Моз являлся мне в снах, наполняя их волшебными фантазиями. Просыпаясь, я каждый день видела его. Я жила в теплом и прекрасном забытии, как спящая принцесса, ждущая поцелуя, и безоговорочно ему доверяла. Я видела, как он смотрит на меня. Я знала, что он придет за мной.

Шли дни, Генри снова стал работать в студии. Он уже сделал достаточно этюдов и торопился перенести сюжет на холст. Он раздумывал, не использовать ли меня в качестве натурщицы для дамы пик, но Моз, незаметно мне подмигнув, резко возразил, что я «не в его вкусе». Генри не знал, оскорбиться ему или успокоиться, он лишь слегка улыбнулся тонкими губами и обещал «поразмыслить об этом». Моз ходил с ним в студию, и некоторое время мы не виделись, но образ его никогда не покидал моих дум.

С каждым днем я чувствовала себя все лучше и принимала все меньше опиумной настойки, которую приносил Генри. Однажды вечером он обнаружил, что я выбросила лекарство, и страшно рассердился. Как же я поправлюсь, кричал он, если не слушаюсь его? Я должна пить лекарство трижды в день, как хорошая девочка, а иначе у меня опять появятся нездоровые фантазии, ночные кошмары, и я буду годна лишь на то, чтобы бездельничать. У меня хрупкое здоровье, говорил он, а разум ослаблен болезнью. Я должна хотя бы попытаться не быть для него обузой, особенно теперь, когда его работы наконец завоевывают признание.

Я покорно согласилась, пообещала каждый день гулять до церкви и обратно и регулярно принимать лекарство. С тех пор я всегда следила, чтобы уровень настойки в бутылочке равномерно уменьшался, – я поливала ею араукарию на лестнице трижды в день. Генри ни о чем не подозревал. Из студии он возвращался почти веселым, работа над картиной шла очень хорошо, хотя и

медленно, сообщал он мне, а Моз позирует ему часа по три в день. Генри работал до вечера. Становилось все теплее, и после обеда я совершала долгие прогулки по кладбищу. Пару раз Тэбби составляла мне компанию, но у нее было слишком много работы по дому, чтобы постоянно меня сопровождать. К тому же я сказала ей, что хожу только до церкви, со мной не может ничего случиться, и теперь, когда зима закончилась, я чувствую себя гораздо лучше. Три или четыре раза я ходила одной дорогой – от Кромвель-сквер, по переулку Свейнзлейн и вниз с холма на кладбище, к церкви святого Михаила. С того дня, как у меня случилось видение, – того самого дня, когда я потеряла ребенка, – я чувствовала странную связь с этой церковью, мне хотелось пойти туда одной и вновь пережить эту целеустремленность, это откровение. Но я ни разу не возвращалась – только по воскресеньям, вместе с Генри. После того как Уильям отправился в Оксфорд, за мной присматривали еще строже. Я не осмеливалась ни на секунду снять маску.

Но теперь я была будто на каникулах. Отлучки из дома доставляли мне куда больше удовольствия, чем я осмеливалась признать, и я заставила Генри поверить, что гуляю только потому, что он мне велел. Если бы он знал, как много эти прогулки значат для меня, он бы, конечно, прекратил их. Я хранила свой секрет и свою радость, а внутри меня прыгало и смеялось что-то дикое и бешеное. Несколько раз я попробовала зайти в церковь, но не решалась – слишком людно: туристы, крещения, свадьбы... а однажды – похороны, и все скамьи были заполнены плакальщиками, одетыми в черное, поющими мрачные гимны под унылые звуки органа.

Я отшатнулась от приоткрытой двери, смущенная и почему-то напуганная, когда меня настигла волна звука. В растерянности я едва не сшибла вазу с белыми хризантемами у входа. Одна женщина обернулась на шум и пристально уставилась на меня, почти с угрозой. Я беспомощно взмахнула рукой, извиняясь, и попятилась, но внезапно колени мои подогнулись. Взглянув вверх, я увидела, что свод неумолимо приближается ко мне, и лицо святого Себастьяна вдруг оказалось совсем рядом – он улыбался, скаля зубы...

«Только не сейчас», – подумала я, отчаянно стараясь сохранять равновесие. Исступленно оглядываясь, я заметила, что женщина все так же пристально смотрит на меня, будто узнала. Вдалеке голос произнес полужнакомое имя. Накатила беспричинная паника, и я повернулась, вырвавшись из транса, и выбежала, хлопнув тяжелой дверью. Споткнувшись и изо всех сил стараясь не упасть, я у подножия лестницы налетела на человека в черном. Его руки плотно

обхватили меня. Окончательно лишившись сил, я хотела было звать на помощь, но, взглянув в лицо незнакомца, поняла, что это Моз.

– Миссис Честер! – Похоже, он удивился, увидев меня, и немедленно разжал объятия. Его раскаяние казалось почти искренним, если бы не озорной блеск в глазах. – Мне очень жаль, что я вас так напугал. Пожалуйста, простите меня.

Я постаралась взять себя в руки.

– Все в порядке, – произнесла я. – Это... не ваша вина. Я пошла в церковь – а там поминальная служба. Это... – И нескладно закончила: – Надеюсь, я не ушибла вас.

Он засмеялся, но тут же прищурился с некоторым беспокойством.

– Так вы все-таки потрясены? – спросил он. – Вы такая бледная. Присядьте-ка на минутку.

Приобняв за плечи, он повел меня к скамейке в нескольких ярдах.

– О, вы совсем замерзли! – воскликнул он, взяв меня за руки.

Не успела я и слова сказать, он снял пальто и набросил мне на плечи. Я нерешительно запротестовала, но он был такой веселый и непринужденный, и так уютно было сидеть на скамейке, прижавшись к нему и вдыхая табачно-шерстяной запах его пальто. Если бы он меня поцеловал, я знаю, что ответила бы со всей искренностью, без малейших угрызений.

10

Я следовал за ней почти целую неделю, прежде чем сделать первый шаг. Она была нелегкой добычей, и действовать следовало осторожно, чтобы не отпугнуть девочку. А еще эта трогательная доверчивость – после того случая я встречался с ней каждый день, и уже через неделю она называла меня Моз и держала за руку, как ребенок. Если бы я не знал, что она замужем, мог бы

поклониться, что она девственница.

Не похоже на меня, говорите вы? Ну, я и сам не мог этого объяснить. Наверное, все дело было в новизне, я играл роль принца, хотя так долго был вальетом... а кроме того, она была красива.

Мужчина способен влюбиться. Но только не я.

И все же в ней было нечто – холодное и бесконечно плотское одновременно, совсем не девичье, будившее во мне какие-то спящие чувства. Совершенно новые переживания: я был точно алкоголик, что впервые пробует медовый детский напиток, давно испортив себе вкус крепким спиртным. Подобно ему, я медленно смаковал новизну, незнакомую сладость. Она не умела отличать хорошее от дурного, она следовала за мной, куда бы мне ни захотелось ее повести, и дрожала от удовольствия, когда я прикасался к ней, и впитывала каждое мое слово. С ней я говорил куда больше, чем с любой другой женщиной, – я забывался и рассказывал о своих стихах и картинах, о мечтах и чаяниях. Обычно мы встречались на кладбище. Удобно – огромное запутанное пространство, полно укромных мест. В один холодный пасмурный вечер, когда Генри работал допоздна, мы встретились у ливанского кедра. Вокруг ни души, а во мне – дьявол. От Эффи так хорошо пахло – розами и белым хлебом. Щеки ее покраснели на холоде, ветер развеивал волосы, и тонкие пряди спадали на ее лицо.

В тот миг я принадлежал ей.

Тогда я впервые поцеловал ее в губы, напрочь позабыв о стратегии наступления. Она стояла у склепа, и я прижал ее к стене. Ее шляпка упала – я не обратил внимания, – ее волосы, расплетясь, оведали мое лицо. Я потянул их и, ласково перебирая, пытался набрать воздуха, словно ныряльщик перед очередным погружением. Не такого поцелуя она, должно быть, ожидала – она тихонько вскрикнула и поднесла руки ко рту, лицо ее стало пунцовым, а глаза – большими, как блюдца. Осознав, что этот опрометчивый порыв, скорее всего, свел на нет все мои труды, я выругался. А затем снова выругался, ругая себя за ругань.

Придя в себя, я отшатнулся и упал на колени, играя роль Раскаивающегося Любовника. Я очень сожалел, я не мог выразить словами, как сожалею о том, что



напугал ее, я готов понести суровейшее наказание. Я поддался минутной слабости, но я так люблю ее, я так мечтал поцеловать ее, с тех самых пор, как увидел, что потерял власть над собой. Ведь я не каменный – но что с того? Я напугал и оскорбил ее. Меня следует высечь.

Может, я слегка переборщил, но эта техника раньше прекрасно срабатывала с замужними женщинами – я тщательно изучил ее на страницах «Сувенира»[16 - «Сувенир» («Keepsake») – ежегодный британский альманах первой половины XIX в.], и, Бог свидетель, в этот раз кое-что из сказанного было почти правдой. Я осторожно поднял глаза – проверить, заглотнула ли она наживку. К моему изумлению, она сотрясалась от хохота – не злого, но неудержимого. Увидев, что я смотрю на нее, она снова расхохоталась.

Маленькая Эфф мгновенно выросла в моих глазах. Я встал и печально улыбнулся.

– Ну, попробовать-то стоило, – сказал я, пожимая плечами.

Эффи покачала головой и снова засмеялась.

– Ах, Моз, – произнесла она. – Ты лицемер! Тебе нужно играть в театре.

Я решил применить другую тактику – Нераскаявшегося Любовника.

– Я и сам об этом подумывал, – сказал я. – Знаешь, обычно это срабатывает. – Я рискнул обезоруживающе улыбнуться и добавил: – Ну ладно. Я не сожалею.

– Так лучше, – ответила Эффи. – В это я верю.

– Тогда поверь и еще кое во что, – сказал я. – Я люблю тебя.

Как она могла не поверить? В тот момент я и сам почти верил.

– Я люблю тебя, и мне невыносимо видеть, что ты замужем за этим высокопарным ослом. Он не считает тебя женщиной, он думает, ты его игрушка, его девочка-нищенка, его маленький болезненный падший ангел. Эффи, тебе нужен я, тебе нужно научиться жить и наслаждаться жизнью.

Я говорил почти искренно. Я чуть было даже самого себя не убедил. Я взглянул на нее, чтобы узнать, какова реакция на сей раз, и наши взгляды встретились. Она шагнула ко мне так решительно, что я едва не попятился. Почти отрешенно поднесла она холодные руки к моему лицу. Ее поцелуй был нежен, и я ощутил соль на ее коже. Я сдерживался, позволяя ее пальцам изучать мое лицо, шею, волосы. Она мягко оттеснила меня к склепу. Я услышал, как позади отворилась калитка, и Эффи втолкнула меня внутрь. Усыпальница – крохотная часовенка с витражным окошком в дальней стене; калитка скрывала от любопытных глаз стул, молельную скамью и алтарь. Там вполне могли укрыться двое. Я закрыл глаза и протянул к Эффи руки.

Калитка захлопнулась прямо передо мной.

Я тут же открыл глаза: дерзкая девчонка улыбалась мне сквозь решетку. Я засмеялся и толкнул дверь, но защелка была снаружи.

– Эффи!

– Тебе страшно, правда? – спросила она.

– Эффи, выпусти меня!

– Ты взаперти и не можешь вырваться на волю? Вот так я чувствую себя с Генри. Он не хочет, чтобы я была живая. Он хочет, чтобы я была тихая и холодная, как труп. Ты не знаешь, каково это, Моз. Он заставляет меня принимать опий, чтобы я была смирной и послушной, но внутри мне хочется кричать, кусаться, бегать по дому голой, как дикарка!

Ее страсть и ненависть – вы не представляете, как будоражили они мой измученный вкус. Но меня терзало беспокойство: не слишком ли горяча она для меня? На миг я подумал, не отказаться ли от всей этой затеи, но искушение было слишком велико. Рыча как тигр, я стал покусывать ее пальцы через решетку. Она громко рассмеялась – словно птица вскрикнула на болотах.

– Ты не предашь меня, Моз.

Это было утверждение. Я покачал головой.

- Если предашь, я приведу тебя сюда и закопаю здесь навечно.

Она лишь отчасти шутила. Я поцеловал ее пальцы.

- Обещаю.

В сумерках я услышал, как она подняла защелку и вошла ко мне в склеп. Ее плащ упал на пол, за ним коричневое фланелевое платье. В сорочке она казалась призраком, ее прикосновение жгло, как горящая сера. Неопытность свою она с лихвой компенсировала пылом. Говорю вам, я почти испугался. Она царапалась, кусалась, набрасывалась на меня, пожирала меня своей страстью, и в темноте я не мог понять, кричит она от муки или удовольствия. На мою осторожную нежность она отвечала неистовой свирепостью. Все было жестоко и быстро - как убийство. А потом она плакала, но, мне кажется, вовсе не от горя.

В ней была тайна, приводившая меня в священный трепет, подобного мне не доводилось испытать ни с одной женщиной. Непостижимо, но она словно очистила меня.

Я знаю, что? вы думаете.

Думаете, я влюбился в девчонку. Нет, не влюбился. Но в тот вечер - заметьте, только в тот вечер - я пережил то, что глубже краткой страсти, изведанной мною с другими женщинами. Казалось, наша встреча что-то раскрыла внутри меня. Я не был влюблен в нее, однако, вернувшись в тот вечер домой, не мог уснуть. Весь в ушибах и царапинах, точно после битвы, я всю ночь просидел у огня, думая об Эффи, потягивая вино, глядя в огонь, будто в ее глаза. Но сколько бы я ни пил, я не мог погасить жажду, разбуженную во мне ее обжигающим прикосновением, и целый бордель шлюх не утолил бы мое желание.

Мне повезло, что Генри не было дома. Я вернулась в начале восьмого, а он обычно приходил из студии к ужину. Входя через заднюю дверь, я услышала, как Тэбби напевает в кухне, и поняла, что мистера Честера еще нет. Я прокралась наверх, к себе в комнату, чтобы переодеться, и решила сменить мятое фланелевое платье на белое хлопковое с голубым поясом – я из него почти выросла, но это любимое платье мужа. Торопливо одеваясь, я думала, заметит ли Генри разницу, ясно читавшуюся на моем лице, – разорванную пелену, так долго скрывавшую меня от мира живых. Я сидела перед зеркалом, унимая дрожь, пока не убедилась, что следы прикосновений моего любовника – следы, алеющие на каждом дюйме моего тела, – существовали только в моем воображении.

Я посмотрела на «Маленькую нищенку», висящую на стене, и не сдержала смеха. Со мной едва не случилась истерика, дыхание перехватило, когда я взглянула в тусклые незрячие глаза ребенка, который никогда не был мной. Я никогда не была девочкой-нищенкой Генри, нет, – даже до того, как выросла из детства. Портрет настоящей меня спрятан на дне корзинки с рукоделием. Лицо с алой печатью. Спящая красавица, ныне разбуженная и отмеченная новым проклятием. Ни Генри, ни кто другой больше не смогут меня усыпить.

Раздался стук, я вскочила на ноги и обернулась: в дверях стоял Генри, лицо непроницаемо. Я невольно вздрогнула от мрачного предчувствия и, чтобы скрыть смятение, принялась расчесывать волосы, тщательно, не торопясь. Тише, тише, засыпай... как русалка из стихотворения [17 - Имеется в виду стихотворение английского поэта Алфреда Теннисона «Русалка»]. Прикасаясь к волосам, я осмелела, будто задержавшаяся в них частица силы и уверенности моего возлюбленного передалась мне. Генри прошел в комнату и заговорил, против обыкновения, дружелюбно:

– Эффи, дорогая моя, ты сегодня очень хорошо выглядишь, просто отлично. Ты принимала лекарство?

Я кивнула, не доверяя собственному голосу. Генри одобрительно кивнул в ответ.

– Я определенно вижу улучшение. Щечки румяные. Превосходно!

Он собственнически погладил меня по лицу, и мне стоило чудовищных усилий не отпрянуть в омерзении – после жгучих прикосновений любовника мысль о

холодных ласках Генри была невыносима.

– Должно быть, ужин почти готов? – спросила я, разделяя волосы на пряди и заплетая их.

– Да, Тэбби приготовила пирог с дичью и тушеный пастернак. – Он нахмурился, увидев мое отражение в зеркале. – Не закалывай волосы, – сказал он. – Оставь так, заплети лентой, как раньше. – Он взял голубую ленту с туалетного столика, аккуратно вплел ее в волосы и завязал большим бантом сзади. – Вот она, моя девочка, – улыбнулся он. – Встань.

Я встряхнула юбками и глянула на отражение в зеркале, все еще так похожее на неподвижное отражение в раме, на «Маленькую нищенку».

– Безупречно, – сказал Генри.

И хотя стоял май, а в камине горел огонь, меня пробил озноб.

За ужином самообладание постепенно возвращалось ко мне. Я съела почти целый кусок пирога, немного овощей и маленькую порцию рейнского крема на десерт и только затем с фальшивой бодростью заявила, что не смогу больше проглотить ни крошки. Генри пребывал в благостном расположении духа. Он в одиночку разделался с бутылкой вина, хотя обычно пил немного, затем последовали два бокала портвейна с сигарой – он не то чтобы опьянел, но явно был навеселе.

Необъяснимая тревога терзала меня: я бы предпочла его равнодушие вместо этих знаков внимания, что он оказывал мне. Он налил мне вина, которое я не хотела пить, расточал комплименты по поводу моего наряда и прически, поцеловал мои пальцы, когда мы встали из-за стола, и, раскуривая сигару, попросил сыграть на фортепьяно и спеть ему.

Я не слишком хорошо играю – знаю три-четыре отрывка и столько же песен, но в тот вечер Генри был очарован моим репертуаром и заставил три раза спеть «Приходи ко мне в беседку». Лишь когда я пожаловалась на усталость, он позволил мне присесть. Он вдруг стал очень заботлив – я должна была положить ноги к нему на колени и сидеть с закрытыми глазами, вдыхая соль с лавандой. Я утверждала, что вполне здорова, просто немного устала, но Генри ничего не

хотел слышать, и тогда, утомленная его вниманием, я сказала, что у меня разболелась голова, и попросила разрешения отправиться в постель.

– Бедная малышка, конечно же, иди, – ответил Генри с тем же добродушием. – Прими лекарство, и Тэбби принесет тебе горячего молока.

Я была рада уйти, несмотря на горячее молоко, и, зная, что иначе не засну, выпила несколько капель опиумной настойки из ненавистой бутылочки. Сняв белое платье, я переоделась в кружевную ночную рубашку. Когда я расчесывала перед сном волосы, раздался стук в дверь.

– Входи, Тэбби, – произнесла я, не оборачиваясь, но, услышав тяжелую поступь, столь отличную от быстрых, легких шагов Тэбби, резко оглянулась и второй раз за вечер увидела Генри, стоящего на пороге, – в руках поднос со стаканом молока и печеньем.

– Это для моей дорогой девочки, – шутливо сказал он, но я успела заметить что-то хитрое, виноватое в его взгляде, и кровь застыла в жилах. – Нет-нет, – сказал он, когда я шагнула к кровати. – Побудь со мной. Сядь ко мне на колени и пей молоко, как раньше.

Он замолчал, и за его широкой улыбкой вновь промелькнула эта вороватость.

– Я замерзну, – возмутилась я. – И я не хочу никакого молока, у меня так болит голова.

– Не капризничай, – посоветовал он. – Я разожгу огонь, ты примешь немного опия с молоком, и совсем скоро тебе станет лучше.

Он потянулся за пузырьком на камине.

– Нет! Я уже пила, – сказала я.

Но Генри не обратил внимания на мой протест. Он отмерил три капли настойки в молоко и протянул мне стакан.

– Генри...

– Не смей так меня называть! – Шутливый тон на мгновение исчез, поднос со стаканом и печеньем дрогнул, и молоко плеснуло через край. Генри заметил, но промолчал. Губы его сжались: он ненавидел любое расточительство и грязь, но голос его был по-прежнему спокоен. – Неуклюжая девчонка! Ну хватит, не заставляй меня сердиться. Будь паинькой, выпей молоко и посиди у меня на коленях.

Я попыталась улыбнуться:

– Да, мистер Честер.

Он не разжимал губ, пока я не выпила все молоко, и лишь тогда расслабился. Он небрежно опустил поднос на пол и обнял меня. Я постаралась не напрягаться, чувствуя тошнотворную тяжесть молока в желудке. Голова кружилась, сотни следов объятий Моза – точно пылающие уста, вопящие в гневе и ярости от того, что этот человек осмеливается трогать меня руками. Тело мое наконец подтвердило то, что разум боялся признать: я ненавидела мужчину, за которого вышла и которому принадлежала по закону и долгу. Я его ненавидела.

– Не волнуйся, – прошептал он, водя пальцами по моему позвоночнику сквозь ткань сорочки. – Вот так, хорошая девочка. Сладенькая Эффи.

Торопливо, дрожащими руками, он расстегивал пуговицы моей сорочки. Волна отвращения накрыла меня, и я безвольно отдалась его прикосновениям, ни на секунду не прекращая молиться дикому языческому богу, которого Моз разбудил во мне, о том, чтобы это поскорее закончилось, чтобы он ушел, чтобы я могла провалиться в опиумный колодец и забыть о его тошнотворных виноватых объятиях.

Я очнулась, словно от глубокого обморока, увидела, что дневной свет пробивается сквозь шторы, и неловко выбралась из кровати, чтобы открыть окно. Воздух был свеж и влажен, я протянула руки к солнцу и почувствовала, как силы возвращаются в мои дрожащие члены. Я тщательно вымыла все тело и, переодевшись в чистое белье и серое фланелевое платье, нашла в себе смелость спуститься к завтраку. Еще не было и половины седьмого, а Генри встает поздно, значит, за столом его не будет, думала я, и я смогу собраться с

мыслями после того, что произошло вчера вечером, – нельзя, чтобы Генри понял, что творится в моей душе и какую власть он имеет надо мной.

Тэбби приготовила яйца с беконом, но я не смогла проглотить ни кусочка. Лишь выпила горячего шоколада, чтобы ублажить Тэбби – иначе она сказала бы Генри, что мне нездоровится. Я потягивала шоколад и ждала у окна, листая стихи и наблюдая, как встает солнце. Генри явился в восемь, одетый в черное, словно собирался в церковь. Он прошел мимо меня без единого слова, уселся за стол, щедро положил себе бекона, яиц, тостов и почек и развернул «Морнинг пост». Он завтракал в тишине, изредка нарушаемой шорохом газеты. Почти не притронувшись к еде, он встал, педантично сложил газету и поднял на меня глаза.

– Доброе утро, – спокойно сказала я, переворачивая страницу.

Вместо ответа Генри лишь сжал губы – он всегда так делал, если злился или если кто-то ему возражал. С чего ему злиться, я не знала, однако ему были свойственны частые перемены настроения, и я уже давно перестала пытаться их понять. Он шагнул ко мне, взглянул на книгу, которую я читала, и нахмурился.

– Любовная лирика! – желчно произнес он. – Я ожидал, что вам, мадам, учитывая образование, которое я позаботился вам дать, хватит здравого смысла, уж сколько там его отмерил вам Бог, не тратить время на подобную чепуху!

Я торопливо закрыла книгу, но было уже поздно.

– Разве я не даю вам все, что вы хотите? Разве вам чего-то не хватает: платьев, юбок, чепчиков? Разве я не оставался с вами, когда вы болели, не мирился с вашими капризами, истериками и мигренями?..

Резкий голос становился все пронзительней, острый, как струнная проволока.

Я осторожно кивнула.

– Любовная лирика! – горько сказал Генри. – Значит, все женщины одинаковы? Неужто ни одна не избежала проклятия всего женского рода? «Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел»[18 - Екклесиаст, 7,



28.]. Разве я такой плохой учитель? Почему ученица, которую я считал неподвластной слабостям своего пола, тратит время на причудливые фантазии? Дай это мне!

Взяв книгу, он мстительно бросил ее в огонь.

– Конечно, – язвительно добавил он. – Ваша мать – модистка, она привыкла потакать слабостям высшего света. Должно быть, никто не позаботился наставить вас. Хорошенький священник был ваш отец, если позволял вам забивать голову подобными нелепостями. Должно быть, он считал этот опасный вздор романтическим.

Я знаю, нужно было молчать, избежать ссоры, но омерзение предыдущей ночи еще жило во мне, и при виде Шелли, Шекспира и Теннисона, охваченных языками пламени, я не сдержала гнева.

– Мой отец был хорошим человеком, – яростно заявила я. – Иногда мне кажется, что он рядом, наблюдает. Наблюдает за нами. – Я заметила, что Генри напрягся. – Интересно, что? он думает, – тихо продолжила я. – Интересно, что? он видит.

Лицо Генри будто сжалось в кулак, и я взорвалась:

– Как смеешь ты жечь мои книги! Как смеешь ты читать мне нравоучения и обращаться со мной как с ребенком! Как ты можешь, ведь ночью...

Я прервалась, стиснув зубы, чтобы не закричать во весь голос о своей тайной ненависти.

– Ночью...

Он понизил голос.

Я вызывающе вздернула подбородок:

– Да!

Он знал, что я имела в виду.

– Я не святой, Эффи, – глухо сказал он. – Я знаю, что слаб, как и все мужчины. Но это ты – ты подталкиваешь меня. Я стараюсь сохранить в тебе чистоту. Господи боже мой, как я стараюсь. Прошлой ночью все это было из-за тебя: я видел, как ты смотрела на меня, причесываясь, я видел розы на твоих щеках. Ты решила соблазнить меня, и я сдался, ибо я слаб. Но я все равно люблю тебя и потому стараюсь, чтобы ты оставалась чиста и невинна, как в тот день, когда я встретил тебя в парке. – Он повернулся ко мне и схватил за руки. – Ты казалась ангельским ребенком. Но уже тогда я догадался, что ты послана искушать меня. Я знаю, ты не виновата, Эффи, это твоя природа – Бог создал женщин слабыми и испорченными, полными вероломства. Но ради меня ты должна бороться с этим, отринуть грех и впустить Господа в свое сердце. О, как я люблю тебя, Эффи! Не сопротивляйся чистоте моей любви. Прими ее и мою власть, словно от любящего отца. Доверяй моему глубокому знанию мира и уважай меня, как уважала бы своего бедного покойного отца. Хорошо?

Сжимая мои руки, он смотрел мне в глаза с такой искренностью и такова была власть многих лет послушания, что я смиренно кивнула.

– Вот и умница. А теперь ты должна попросить у меня прощения за грех гневливости, Эффи.

Мгновение я колебалась, пытаюсь вернуть бунтарский дух, бесстыдство, уверенность, которую ощутила с Мозом на кладбище. Но все ушло вместе со вспышкой неповиновения, я чувствовала себя слабой, и слезы легко защипали глаза.

– Простите. Простите, что нагрубила вам, мистер Честер, – бормотала я, а слезы текли по щекам.

– Хорошая девочка, – торжествующе сказал он. – Что, еще плачешь? Ну хватит. Видишь, я был прав насчет этих стишков – от них ты грустишь и капризничаешь. Теперь вытри глаза, и я попрошу Тэбби принести лекарство.

Полчаса спустя Генри ушел, а я лежала в постели – глаза мои были сухими, но душу заволочло безразличное отчаяние. Глядя на пузырек с опиумом на столике у кровати, я на мгновение подумала о величайшем грехе против Духа Святого.

Если бы не Моз, если бы не любовь и ненависть в моем сердце, я могла бы здесь и сейчас совершить страшнейшее из убийств. Жизнь растянулась передо мной, словно отражение в ярмарочной зеркальной комнате, я увидела свое лицо в юности, в зрелом возрасте, в старости – унылые трофеи, украшающие стены в доме Генри, в то время как он все больше отнимал меня у меня самой. Мне хотелось содрать с себя кожу, освободить создание, которым я была, когда танцевала обнаженной в лучах света... Если бы не Моз, я бы это сделала, и с радостью.

12

Я зашел в свой клуб «Дерево какао» для позднего завтрака – не мог есть, когда Эффи тарасилась на меня своими темными ранеными глазами, словно я в чем-то виноват! Она понятия не имела, чем я ради нее пожертвовал, понятия не имела о мучениях, которые я выносил ради нее. Впрочем, ей было все равно. Ее интересовали только чертовы книжки. Прищурившись, я старался сосредоточиться на «Таймс», но строки сливались, и я не мог читать – перед глазами стояло ее лицо, губы, гримаса ужаса, искажившая черты, когда я ее поцеловал...

Будь прокляты ее игры! Слишком поздно притворяться непорочной, я видел ее лживую сущность насквозь. Лишь ради нее я ходил в тот дом на Крук-стрит – ради нее. Чтобы оградить ее запятнанную чистоту. Мужчина может бывать в таких местах и не должен угрызаться: в конце концов, это все равно что ходить в клуб, в закрытый мужской клуб. У меня были инстинкты, черт бы ее побрал, как у любого мужчины; лучше уж удовлетворять их с какой-нибудь шлюхой с Хеймаркета, чем с моей маленькой девочкой. Но вчера ночью в ней было что-то особое, что-то необычное – чувственная, разгоряченная, возбужденная... розовеющие щеки, кожа и волосы пахнут травой и кедром... Она хотела соблазнить меня. Я знал это.

Просто нелепо, что я должен чувствовать себя нечистым. Нелепо, что она пытается обвинять меня. Я медленно пил кофе, наслаждаясь запахом дорогой кожи и сигар в теплом воздухе, под приглушенные голоса – мужские голоса. В то утро меня тошнило от одной мысли о женщинах. Я был рад, что сжег ее глупую книжку. Позже переберу книжные полки и найду остальные.

– Мистер Честер?

Я вскочил, и кофе пролился на блюдце в руке. Человек, обратившийся ко мне, был строен и светловолос, с пронзительными серыми глазами за круглыми очками.

– Прошу прощения, что побеспокоил вас, – с улыбкой произнес он. – На днях я был на вашей выставке и весьма впечатлен. – Он говорил быстро и отчетливо, сверкая белоснежными зубами. – Доктор Рассел, – подсказал он. – Фрэнсис Рассел, автор «Теории и практики гипноза» и «Исследования истерии».

Имя действительно было мне знакомо. Лицо, впрочем, тоже. Должно быть, видел на выставке.

– Не хотите ли присоединиться ко мне и выпить чего-нибудь покрепче? – предложил Рассел.

Я отодвинул полупустую кофейную чашку.

– Обычно я не пью спиртного, – сказал я. – Но чашка горячего кофе пришлась бы кстати. Я... немного устал.

Рассел кивнул.

– Бремя артистичной натуры, – сказал он. – Бессонница, головные боли, проблемы с пищеварением... Многие мои пациенты жалуются на подобные симптомы.

– Понимаю. – Я и правда понял. Человек просто-напросто предлагал свои услуги. Эта мысль почему-то успокаивала. А я уж было подумал, не скрывается ли за его нарочито дружеским обращением что-то зловещее. Злясь на себя за подобные мысли, я тепло ему улыбнулся. – И что же вы обычно рекомендуете в таких случаях? – спросил я.

Мы некоторое время поговорили. Рассел был интересным собеседником, хорошо разбирался в искусстве и литературе. Мы затронули тему наркотических веществ: их значение для искусства символистов, их применение для лечения

взвинченных нервов. Я упомянул об Эффи, и он заверил меня, что настойка опия, особенно для молодой чувствительной женщины, – лучшее средство от депрессии. Весьма здравомыслящий молодой человек этот Фрэнсис Рассел. Проведя час в его обществе, я понял, что могу затронуть деликатный вопрос капризов Эффи. Конечно, я не стал рассказывать ему обо всем, а лишь намекнул, что у моей жены бывают странные фантазии и беспричинные недомогания. К моему удивлению, доктор поставил такой же диагноз, как и я. Неясное чувство вины – словно я каким-то образом был причастен к действиям Эффи вчера ночью – исчезало по мере того, как я узнавал, что такие переживания – не редкость. Рассел объяснил мне, что здесь уместен термин «эмпатия» и что мне не следует расстраиваться из-за своих естественных реакций.

Из «Дерева какао» мы вышли приятелями. Мы обменялись визитками и договорились снова встретиться, и в куда более радужном настроении я наконец отправился в студию на встречу с Мозесом Харпером, уверенный, что в Расселе обрел союзника, орудие борьбы с вымышленными призраками своей вины. На моей стороне была наука.

13

Видите, она нуждалась во мне. Если хотите, считайте меня злодеем, но я делал ее счастливой – ваши нравоучения на это неспособны. Она была самым одиноким человеком из всех, кого я только знал, запертая в башне из слоновой кости со своим холодным принцем и слугами и всем, чего могло бы желать ее сердце, – кроме любви. Ей был нужен я – и как бы вы меня ни презирали, я научил ее всему, что знал. Она была способной ученицей без всяких комплексов. Она принимала все – без страха, стыда, напускной скромности. Я не развращал ее – если уж на то пошло, это она меня развратила.

Мы встречались при любой возможности, обычно днем, когда я заканчивал позировать, а Генри оставался в студии. Работа над портретом шла очень медленно, и он каждый вечер засиживался до семи. Это давало мне возможность проводить Эффи домой задолго до его возвращения, так что он никогда не знал, сколько она отсутствовала, – а если старуха Тэбби что-то и подозревала, она никогда об этом не говорила.

Около месяца наши встречи проходили то на кладбище, то у меня дома. Эффи была человеком настроения: иногда взвинчена и напряжена, иногда весела и беззаботна, но главное – всегда разная. Это проявлялось и в том, как она любила меня, – казалось, я сплю с десятком женщин. Должно быть, этим она и удерживала меня так долго – мне крайне легко наскучить, знаете ли.

Она рассказывала мне, что во сне путешествует по всему миру, иногда описывала странные далекие места, в которых побывала, и плакала над их утраченной красотой. Еще она говорила, что может покидать свое тело и наблюдать за людьми, а они об этом даже не подозревают; она описывала свое физическое наслаждение при этом и уговаривала попробовать. Она верила, что, если я научусь этому фокусу, мы сможем заниматься любовью вне тел и соединимся навсегда. Естественно, у меня ни разу не получилось, хоть я и пытался, прибегнув к опиуму и чувствуя себя круглым дураком, что поверил ей. Она же и впрямь в это верила, как верила всему, что я ей говорил. Своими рассказами я мог заставить ее дрожать, бледнеть, плакать, смеяться или вспыхивать от гнева и получал от этого какое-то невинное удовольствие. Я рассказывал ей сказки о богах и привидениях, о ведьмах и вампирах, сказки из своего раннего детства, и поражался ее детскому голоду и даром растрачиваемым способностям учиться.

Как я уже говорил, это было новое переживание, и всякий раз она обезоруживала меня. Однако настоящий ее талант, как у всех женщин, заключался в способности чувствовать, и иногда я даже жалел Генри Честера, не способного оценить всю страсть, сокрытую в бедной маленькой Эффи.

Перемена произошла в тот день, когда я решил отвести ее на передвижную ярмарку, расположившуюся на Айлингтон-роуд. Все женщины любят ярмарки – там продают безделушки, там можно заглянуть в Тоннель Любви, там гадалки предсказывают встречу с темноволосым красавцем, там много детей. Что же до меня, я слышал, там выставляют богатое собрание человеческих «экспонатов», а против паноптикума я не могу устоять с самого детства. Они всегда меня очаровывали, эти бедные уродцы, игрушки невнимательного Бога. Очевидно, в Китае эти шоу приносят неплохой доход, а природа не поставляет достаточно «чудес», и многодетные семьи продают младенцев на ярмарки, где их уродуют, а затем демонстрируют на потеху публике. Младенцев – обычно девочек, они как-то не в чести, – специально калечат, помещая в тесные клетки, где у них деформируются руки-ноги. Через несколько лет такого существования из них получаются комично атрофированные создания – гномы, которых так любят

дети.

Я рассказал об этом Эффи по пути на ярмарку, а потом целых пятнадцать минут не мог ее успокоить. Как, всхлипывала она, о, как же они могут быть такими жестокими, такими бесчеловечными? Нарочно такое создавать! Можно ли представить себе, какую невероятную ненависть должно испытывать такое существо... Тут она разрыдалась, и кучер с упреком уставился на меня сквозь стекло. Я как мог убеждал ее, что на этой ярмарке искусственных уродцев нет, что все они на самом деле ошибки природы и хорошо зарабатывают своим ремеслом. Кроме того, там будут и другие развлечения: я куплю ей ленты у коробейника и, если она захочет, горячий имбирный пряник. Внутри же я кривился и обещал себе не рассказывать ей больше о Китае.

На ярмарке Эффи повеселела и заинтересовалась тем, что творится вокруг. Торговцы разноцветными побрякушками, старик шарманщик с танцующей обезьяной в красном пальто, жонглеры и акробаты, пожиратель огня, девушки-цыганки, танцующие под дудки и бубны.

Она задержалась возле танцовщиц, пристально разглядывая девушку примерно ее возраста, смуглую, босую, с распущенными иссиня-черными цыганскими волосами и звенящими браслетами на лодыжках – красивых лодыжках, надо сказать. На ней было платье с золотым шитьем, алые юбки и множество ожерелий. Эффи была очарована.

– Моз, – прошептала она, когда девушка перестала танцевать. – По-моему, она самая красивая женщина, какую я когда-либо видела.

– Не такая красивая, как ты, – попробовал возразить я, беря ее за руку.

Она нахмурилась и раздраженно покачала головой.

– Не говори глупостей, – заявила она. – Я же правда так думаю.

Женщины! Иногда им не угодишь.

Я хотел идти дальше, начиналось шоу уродов, и зазывала расписывал чудесного Адольфа, Человека-торса, – но Эффи все смотрела на цыганку. Она пошла к

выцветшему голубому с золотом навесу на обочине, зазывала объявлял, что «Шехерезада, Принцесса Таинственного Востока» будет предсказывать судьбу при помощи «магических карт Таро и хрустального шара». Я увидел, как загорелись глаза Эффи, и подчинился неизбежному. Через силу улыбнувшись, я сказал:

– Наверное, хочешь узнать свою судьбу?

Она кивнула, ее лицо оживилось в предвкушении.

– Как ты думаешь, она настоящая принцесса?

– Почти наверняка, – очень серьезно ответил я, и Эффи восторженно вздохнула. – Должно быть, ее прокляла злая ведьма, и теперь она должна жить в нищете, – продолжал я. – Она потеряла память и скрывает свои магические способности, притворяясь ярмарочной шарлатанкой. Но по ночам она превращается в серебряную лебедь и во сне летает туда, где никто, кроме нее, никогда не бывал.

– Да ты надо мной смеешься, – запротестовала она.

– Вовсе нет.

Но Эффи было не до того.

– А знаешь, мне никогда не гадали. Генри говорит, это все прикрытие для черной магии. Он говорит, что в Средние века за такое вешали и правильно делали.

– Ханжа твой Генри, – фыркнул я.

– Да мне все равно, что он говорит, – решительно заявила Эффи. – Подождешь меня здесь? Я ненадолго.

Лишь бы дама была довольна. Я уселся на пенек и стал ждать.



Жрица[19 - Карта в прямом положении сулит счастье, тайное влияние, означает согласие, способность понимать и толковать слово Божье; в перевернутом - непостоянство, супружескую измену, ошибочные предположения.]

14

В шатре было жарко; освещался он лишь небольшой красной лампой на столе. Цыганка сидела на табурете, тасуя колоду карт. Когда я вошла, цыганка улыбнулась и жестом пригласила меня присесть. Я на миг отпрянула - удивилась, что это не та женщина, которая танцевала. Эта была старше, голова повязана шарфом, черные глаза густо подведены. Я озадаченно уставилась на предмет, накрытый темной тканью, что лежал на столе. Поймав мой взгляд, немолодая «Шехерезада» указала на предмет сильной, все еще прекрасной рукой.

- Хрустальный шар, - объяснила она. Голос был ровный и приятный, но с акцентом. - Если не накрывать, он теряет силу. Снимите колоду, пожалуйста.

- Я... А где девушка, которая танцевала? - нерешительно спросила я. - Я думала, это она будет предсказывать судьбу.

- Моя дочь, - коротко сказала она. - Мы с ней вместе работаем. Пожалуйста, снимите карты.

Она протянула мне колоду, и я задержала ее в руках. Карты были тяжелые, на вид очень старые и лоснились не от грязи, но от бесчисленных почтительных прикосновений. Я вернула их неохотно - хотела рассмотреть поближе. Цыганка стала спиралью раскладывать карты по столу.

- «Отшельник», - начала Шехерезада. - И десятка жезлов. Подавление. Этот человек говорит о добродетели, но у него есть постыдный секрет. Семерка кубков - распушенность. И девятка мечей - жестокость и убийство. Теперь «Влюбленные» - но тут сверху валет монет. Он принесет тебе радость и горе, потому что в руках у него двойка кубков и «Башня». А кто у нас на «Колеснице»? «Жрица», она опирается на десятку мечей, что предрекает гибель, и туз кубков -

большую удачу. Ты станешь доверять ей, и она спасет тебя, но чаша, которую она предложит, полна горечи. Ее колесницей правят валет и «Шут», а под колесами – туз жезлов и «Повешенный». В руках она несет «Справедливость» и двойку кубков, что предвещает «Любовь», однако внутри кубков – «Перемены» и «Смерть».

Она замолчала, словно забыв о моем присутствии, и тихо заговорила сама с собой по-цыгански.

– А дальше что-нибудь есть? – спросила я через некоторое время, увидев, что она глубоко задумалась.

Замявшись, Шехерезада кивнула. Она как-то странно посмотрела на меня, затем подошла, быстро поцеловала в лоб и сделала какой-то знак тремя пальцами левой руки.

– У тебя необычная, магическая судьба, *ma dordi*, – сказала она. – Лучше сама посмотри.

Она аккуратно сняла покров с хрустального шара и пододвинула его ко мне.

На миг я перестала понимать, где нахожусь. Свет причудливо играл в хрустале, и мне казалось, будто я покинула тело и смотрю откуда-то сверху на знакомую сцену, персонажи которой будто сошли с карт Таро: девушка сидит за столом, цыганка смотрит на разложенные перед ней карты. Внезапно голова стала легкой-легкой, почти закружилась, меня разбирал беспричинный смех, но в то же время я смутно тревожилась, словно боролась с утраченными воспоминаниями.

«Когда нам вновь сойтись втроем?»[20 - Шекспир. Макбет. Акт I, сцена 1. Перевод М. Лозинского.] – спросила я себя и безудержно расхохоталась, будто вспомнила невероятно смешную шутку.

И вдруг меня захлестнуло отчаяние, столь же внезапное, как и веселье, слезы подступили к глазам, изображение в шаре расплывалось. Я испугалась, растерялась, но не могла вспомнить, что меня напугало, и, дрожа, смотрела на затуманенную поверхность шара.

Шехерезада вполголоса напевала что-то нежное:

Aux marches du palais...

Aux marches du palais...

Y'a une si belle fille, Ionl?...

Y'a une si belle fille...[21 - «На ступенях дворца... На ступенях дворца... Ждет красotka одна... Ждет красotka одна...» (фр.) – одна из версий французской песни XVIII в.]

Я старалась удержаться в теле, не упасть в хрустальный шар, но притяжение было слишком сильным. Я не чувствовала ни рук, ни ног, не видела ничего, кроме мутной поверхности, но вот туман начал рассеиваться. Шехерезада пела, то громче, то тише, протяжный мотив всего из трех нот. Ритм завораживал, и я ощутила, как легко покидаю тело, восприятие исказилось, все кружилось и вертелось. Подчиняясь звуку, я выплыла сквозь темноту из шатра и воздушным шариком стала подниматься в небо.

Издали я слышала голос Шехерезады, она нежно приговаривала:

- Шш, шшш... все хорошо. Видишь шарики? Смотри на шарики.

Откуда она знает, о чем я думаю, смутно удивилась я, а потом с наивным детским восторгом вспомнила: она ведь Шехерезада, Принцесса Таинственного Востока. Я хихикнула.

- Спи, маленькая, – шептала она. – Сегодня твой день рождения, и будут шарики, я обещаю. Ты их видишь?

Они плавали вокруг меня, разноцветные, сверкающие на солнце. Я кивнула. Из дальнего далека я услышала свой сонный ответ.

Я видела шатер внизу, Моза на пеньке, слышала крики коробейников, расхваливающих свой товар: «Горячие имбирные пряники!», «Ленты и банты!», «Лакричные палочки!» Аромат свежих пирогов смешивался с запахом сахарной ваты и животных. Я бесцельно парила, как сказочный летучий корабль, и вдруг почувствовала, что меня мягко тянет к алому шатру. Над входом растянули

транспарант с надписью «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МАРТА!», украшенный воздушными шарами, и мне показалось, что изнутри я слышу музыку, шарманку или, может, заводную игрушку. Я медленно спускалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Исход, 3, 14. – Здесь и далее примечания редактора.

2

Карта Таро, в правильном положении означающая мудрость, рассудительность, опыт; в перевернутом – тоску, одиночество, символизирует необдуманные поступки.

3

Россетти Данте Габриэль (1828–1882) – английский поэт, художник и переводчик. В 1848 г. вместе с Уильямом Холманом Хантом и Джоном Эвереттом Миллесом основал «Братство прерафаэлитов».

4

Счастливая карта Старших арканов. В прямом положении – надежда, обновление, открытие новых горизонтов, исцеление от недугов; в перевернутом – упадок духа, разочарование в близких, предупреждает о возможной духовной слепоте, не позволяющей заметить и использовать новые возможности.

5

Послание к Галатам, 5, 16-20.

6

В большинстве толкований карт Таро девятка мечей считается худшей картой в колоде. Она предрекает смерть, неудачу, крайнее отчаяние.

7

Рёскин Джон (1819–1900) – английский писатель, искусствовед, критик.

8

Образ из поэмы «Кубла Хан, или Видение во сне» английского поэта-романтика Сэмюэла Тейлора Кольриджа (1772–1834).

9

Если карта легла правильно, валет монет указывает на молодого человека, усердного работника, пытливого и дотошного. Перевернутая карта – одинокий, благоразумный, трудолюбивый, но несколько медлительный человек. Монеты (или пентакль) в картах Таро – масть, соответствующая червам в игральных картах.

10

Перевод О. Пенькова.

11

До?ма (фр.).

12

Неверный шаг, промах, бестактность (фр.).

13

Суинберн Алджернон Чарлз (1837–1909) – английский поэт и критик, известный смелыми экспериментами в стихосложении, член движения прерафаэлитов,

близкий друг Россетти.

14

Лихой валет червей и дама пик твердят // О мертвой их любви, истлевшей век назад (фр.). Бодлер Ш. Сплин (из цикла «Цветы зла»). Перевод Г. Шенгели.

15

Псевдоним английской писательницы и поэтессы Эмили Джейн Бронте (1818-1848).

16

«Сувенир» («Keepsake») – ежегодный британский альманах первой половины XIX в.

17

Имеется в виду стихотворение английского поэта Алфреда Теннисона «Русалка».

18

Екклесиаст, 7, 28.

19

Карта в прямом положении сулит счастье, тайное влияние, означает согласие, способность понимать и толковать слово Божье; в перевернутом – непостоянство, супружескую измену, ошибочные предположения.

20

Шекспир. Макбет. Акт I, сцена 1. Перевод М. Лозинского.

21

«На ступенях дворца... На ступенях дворца... Ждет красotka одна... Ждет красotka одна...» (фр.) – одна из версий французской песни XVIII в.

----

Купить: <https://tellnovel.com/dzhoann-harris/temnyy-angel-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)